# Побочная семья

# Оноре де Бальзак

Графине Луизе де Тюрхейм на память и в знак искреннего уважения от ее покорного слуги де Бальзака

Улица Турнике-Сен-Жан была некогда одной из самых кривых и темных в старинном квартале, где находится ратуша; извиваясь вдоль садиков Парижской префектуры, она выходила на улицу Мартруа как раз у старой стены, в настоящее время снесенной. Здесь был турникет, которому улица и обязана своим названием, он был уничтожен только в 1823 году, когда городское управление Парижа выстроило на месте одного из садиков бальный зал, где был устроен праздник в честь возвращения герцога Ангулемского из Испании. Просторнее всего улица Турнике была у пересечения с улицей Тисерандери, но и там ширина ее едва достигала пяти футов. В дождливую погоду по улице текли потоки грязной воды, омывая стены старых домов и унося с собой отбросы, которые обыватели сваливали возле уличных тумб. Повозка мусорщика не могла проехать по этой вечно грязной улице, и для ее очистки жителям приходилось рассчитывать только на ливень. Да и как было привести ее в порядок? В летнее время, когда лучи солнца отвесно падают на Париж, золотая полоса света, узкая, как клинок сабли, ненадолго озаряла мрак улицы Турнике, но так и не могла высушить постоянную сырость, застоявшуюся на уровне нижних этажей черных, молчаливых домов. В июле лампы там зажигали уже в пять часов вечера, а зимой и вовсе их не тушили. Впрочем, даже в наши дни отважному человеку, решившему пройти пешком от квартала Марэ до набережных, покажется, что он спустился в погреб, как только в конце улицы Дю-Шом он свернет на Ом-Арме и по улицам Бийет и Де-Порт выйдет на Турнике-Сен-Жан.

Почти все улицы старого Парижа, великолепие которых так превозносится в летописях, схожи с этим сырым и темным лабиринтом, где любители еще могут найти кое-какие остатки старины. Так, например, в те времена, когда существовал дом на углу улиц Турнике и Тисерандери, нетрудно было заметить торчавшие из его стены обломки двух толстых железных колец — все, что уцелело от цепей, которые квартальный надзиратель приказывал некогда протягивать каждый вечер для охраны общественного порядка. Этот дом, примечательный своей ветхостью, был построен с предосторожностями, говорившими о сырости старинных жилищ. Для оздоровления первого этажа свод подвала был выведен фута на два над землей, и, чтобы войти в дом, приходилось подняться по трем ступенькам. Парадная дверь была украшена полукруглым наличником, который заканчивался вверху женской головкой и арабесками, источенными временем. В полуподвальном этаже дома, с улицы Турнике, имелась квартирка в три окна, прорезанных почти на высоте человеческого роста и скудно пропускавших свет. Эти окна с прогнившими рамами были забраны редкой решеткой из толстых железных прутьев, выгнутых книзу, как в витринах булочных. Если днем какой-нибудь любопытный заглядывал в окна двух комнат, составлявших эту квартирку, ему ничего не удавалось там разглядеть. Лишь при свете яркого июльского солнца глаз различал во второй комнате две кровати с ветхим пологом из зеленой саржи, стоявшие рядом в алькове, обшитом деревянной панелью. Но около трех часов пополудни, как только зажигались свечи, в окно первой комнаты можно было увидеть старуху; она сидела на скамейке возле камина и помешивала угли в жаровне, на которой тушилось рагу — излюбленное блюдо привратниц. В полумраке вырисовывались кое-какие предметы кухонной и домашней утвари, развешанные в глубине комнаты. В этот час старый стол на ножках, скрещенных в виде буквы X, бывал обычно накрыт. Скатерти, правда, на нем не было, но стояли два оловянных прибора и миска с каким-нибудь кушаньем, состряпанным старухой. Три плохоньких стула дополняли меблировку комнаты, служившей одновременно и кухней и столовой. На камине виднелся осколок зеркала, огниво, три стакана, спички и большой белый кувшин с отбитыми краями. И все же плиточный пол комнаты, утварь, камин — все ласкало взор благодаря порядку и бережливости, отличавшим это мрачное и холодное жилище. Бледное, морщинистое лицо старухи соответствовало темной улице и дряхлым, заплесневевшим стенам дома. Неподвижно сидя на стуле, она казалась вросшей в этот дом, как улитка в свою бурую раковину. В ее лице сквозь притворное добродушие проглядывала едва уловимая плутоватость; из-под круглого, плоского тюлевого чепца выбивались седые волосы; большие серые глаза были так же спокойны, как улица, где она жила, а многочисленные морщины можно было сравнить с трещинами в стенах дома. Родилась ли она в нужде или впала в нее после минувшего достатка, только она, по-видимому, давно примирилась со своей печальной участью. С восхода солнца и до позднего вечера, за исключением того времени, когда старуха стряпала или отлучалась с корзинкой за провизией, она сидела у последнего окна квартирки, а напротив нее, в старом кресле, обитом красным бархатом, работала девушка. Молодую вышивальщицу прохожие могли заметить в любое время дня: она не сходила с места и, склонившись над пяльцами, усердно трудилась. На коленях матери лежал зеленый тамбур для плетения тюля, но пальцы шестидесятилетней женщины еле перебирали шпульки, а зрение, по-видимому, ослабело, так как нос ее был украшен парой тех стародавних очков, которые держались при помощи пружинки на самом его кончике. С наступлением темноты труженицы ставили на столик, разделявший их, лампу. Пройдя сквозь два стеклянные шара, наполненные водой, ее лучи ярко озаряли работу, позволяя одной женщине видеть тончайшие нити шпулек, а другой — еле заметные штрихи рисунка, нанесенного на ткань, по которой она вышивала. Воспользовавшись выступом решетки, девушка выставила за окно длинный деревянный ящик с землей; в нем росли душистый горошек, настурция, хилый кустик жимолости и вьюнок, слабые стебельки которого обвились вокруг прутьев. Чахлые растения давали блеклые цветы — лишняя черта, вносившая что-то грустное и нежное в картину этого окошка, проем которого так хорошо обрамлял два женских лица. Случайно заглянув в него, даже невнимательный прохожий уносил с собой представление о жизни рабочего люда в Париже, так как вышивальщица, по-видимому, жила только своей иглой. Мало кто доходил до турникета, не задав себе вопроса, каким образом девушка сохранила румянец в этом сыром подземелье. Когда по дороге в Латинский квартал[[1]](#footnote-1) мимо проходил студент, пылкое воображение помогало ему сравнить это незаметное, бесцельное существование с жизнью плюща, покрывающего холодные каменные стены, или с жизнью обреченных на труд крестьян, которые родятся, обрабатывают землю и умирают, оставаясь неведомыми миру, хотя они-то его и кормят. Рантье, осмотрев дом взглядом собственника, спрашивал себя: что станется с этими двумя женщинами, если вышивки выйдут из моды? Может быть, среди тех, кто в определенные часы проходил на службу в ратушу или во Дворец правосудия или же возвращался домой, попадались и добрые люди. Может быть, какой-нибудь вдовец или сорокалетний Адонис[[2]](#footnote-2), долго и внимательно изучавший эту безрадостную жизнь, рассчитывал на бедственное положение матери и дочери, чтобы дешево купить невинную труженицу; ведь ее ловкие пухлые ручки, нежная шея и белая кожа — очарование, которыми она, вероятно, была обязана этой улице, лишенной солнечного света, — неизменно возбуждали восхищение прохожих. Может быть также, какой-нибудь честный чиновник с окладом в тысячу двести франков, ценитель благонравия и каждодневный свидетель усердия, с каким трудилась молодая вышивальщица, ожидал только повышения, чтобы соединить свою незаметную судьбу с ее столь же незаметной судьбой, свой упорный труд — с ее трудом, предложив девушке, по крайней мере, поддержку мужской руки и мирную любовь, бесцветную, как вьюнки на ее окошке. Смутная надежда оживляла порой потухшие серые глаза старухи матери. Утром, после скудного завтрака, она брала тамбур скорее ради приличия, чем по обязанности, и, положив очки на потемневший от времени рабочий столик мореного дерева, такой же дряхлый, как и она сама, с половины девятого до десяти часов утра внимательно наблюдала за людьми, обычно проходившими в это время по улице; она ловила их взгляды, высказывала замечания об их походке, одежде, лицах и, казалось, предлагала им свою дочь — так выразительны были ее глаза, пытавшиеся завязать между прохожими и девушкой узы взаимной симпатии при помощи уловок, достойных театральных кулис. Нетрудно догадаться, что обычная вереница прохожих служила ей развлечением, а может быть, и единственным удовольствием. Дочь редко поднимала голову: стыдливость, а вероятнее всего, мучительное сознание своей бедности приковывало ее взгляд к пяльцам. И только в ответ на возглас удивления матери она показывала любопытным свое личико с чертами неправильными, но весьма привлекательными. Чиновник, одетый в новый сюртук, или примелькавшийся прохожий, шедший на этот раз под руку с женщиной, могли заметить тогда слегка вздернутый носик вышивальщицы, ее румяные губы и серые глаза, полные жизни, несмотря на утомление. От бессонных ночей, проведенных за работой, под ее глазами легли темные тени, но лицо никогда не теряло свежести. Бедная девушка, казалось, была рождена для любви и веселья; для любви, которая провела над ее миндалевидными глазами тонкие, ровные дуги бровей и наградила ее таким обилием каштановых волос, что она могла закутаться ими, как плащом, непроницаемым для взоров возлюбленного; для веселья, от которого трепетали ее подвижные ноздри, а на розовых щеках выступали две ямочки, для веселья — этого цветка надежды, которое помогало ей быстро забывать огорчения и без содрогания смотреть на безрадостный жизненный путь. Девушка всегда была тщательно причесана. По обычаю парижских работниц, она считала себя одетой, как только успевала пригладить волосы и выложить на висках два шаловливых завитка, резко выделявшихся на белой коже. В повороте этой головки было столько грации, темный узел волос, лежащий на точеной шейке, так красноречиво говорил о юной прелести девушки, что наблюдательный человек, видя, как упорно она работает, не поднимая глаз при звуке его шагов, мог заподозрить ее в кокетстве. Весь ее облик был так пленителен, что не один юноша оборачивался с тщетной надеждой увидеть еще раз это милое личико.

— Смотри, Каролина, новый прохожий, и гораздо лучше прежних.

Эти слова, которые мать произнесла шепотом как-то утром в августе 1815 года, преодолели равнодушие молодой вышивальщицы, но она напрасно взглянула на улицу: незнакомец уже был далеко.

— Куда же он исчез? — спросила она.

— Он, конечно, будет возвращаться часа в четыре, я толкну тебя ногой, как только его увижу. Уверена, что он опять появится. Вот уже три дня, как он проходит по нашей улице, но в разные часы: в первый день — в шесть часов, позавчера — в четыре, а вчера — в три. Помнится, я видела его время от времени и прежде. Верно, это какой-нибудь чиновник префектуры, переехавший к нам в Марэ. Смотри, — прибавила она, бросив взгляд на улицу, — господин в коричневом костюме надел парик; сегодня его не узнать!

Господином в коричневом костюме, очевидно, заканчивалась ежедневная процессия прохожих, потому что старуха мать вновь надела очки и, вздохнув, принялась за работу; при этом она бросила на дочь взгляд настолько странный, что самому Лафатеру[[3]](#footnote-3) вряд ли удалось бы его объяснить; в нем было все — восхищение, признательность, надежда на лучшее будущее и чувство гордости, вызванное красотою дочери. Около четырех часов вечера старуха толкнула ногой Каролину. И та подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть новое действующее лицо, появлению которого на улице предстояло оживлять отныне однообразие этого ежедневного зрелища. То был человек лет сорока, высокий, худощавый, бледный. Одет он был во все черное и выдавался своей горделивой осанкой. Когда его пронизывающие светло-карие глаза встретились с тусклым взглядом старухи, она вздрогнула; ей показалось, что незнакомец отличается природным даром или привычкой читать в глубине сердец. Он держался очень прямо, и от его обращения веяло, очевидно, таким же ледяным холодом, как и от улицы, по которой он шел. Но почему у него такой землистый цвет лица — виновата ли в этом болезнь или же чрезмерная работа? Эту загадку старуха решала на двадцать ладов. Но одна Каролина сразу догадалась, что грустное лицо незнакомца носит следы долгих душевных страданий. Лоб, легко собиравшийся в морщины, и слегка впалые щеки хранили на себе ту печать, которой злосчастье отмечает своих данников как бы для того, чтобы предоставить им в утешенье возможность узнавать друг друга и братски объединяться для сопротивления. Взгляд девушки загорелся сперва вполне невинным любопытством, но едва незнакомец, похожий на опечаленного родственника, замыкающего похоронное шествие, стал удаляться, в ее глазах появилось выражение нежного сочувствия. Жара в этот час была так удушлива, а рассеянность неизвестного так велика, что даже по их сырой улице он шел без шляпы. Каролина успела заметить, что высокий лоб и волосы, остриженные ежиком, придавали его лицу выражение суровости. Незнакомец произвел на нее сильное, но не особенно приятное впечатление; впрочем, оно ничуть не походило на те чувства, какие вызывали у девушки другие прохожие. Впервые жалость Каролины была направлена не на себя или на мать, а на постороннего человека. Она ни словом не отозвалась на нелепые предположения старухи и, не слушая ее надоедливой болтовни, молча продолжала продергивать длинную иглу с ниткой сквозь натянутый тюль. Ей не удалось хорошенько рассмотреть незнакомца, и, сожалея об этом, она решила подождать следующего дня, чтобы составить о нем окончательное мнение. Впервые один из прохожих заставил ее задуматься. Обычно она отвечала только грустной улыбкой на догадки матери, которая в каждом увиденном мужчине надеялась найти для нее покровителя. Если все эти неосторожно высказанные соображения не пробудили ни одной дурной мысли у Каролины, то ее «беспечность» следует приписать упорному и, к несчастью, подневольному труду, который подтачивал ее неповторимую молодость и от которого вскоре должны были потускнеть ее глаза и сбежать нежные краски, пока еще оттенявшие белизну девичьего лица.

В течение двух долгих месяцев *черный господин*, как его прозвали вышивальщицы, проявлял крайнее непостоянство в привычках. Он не всегда проходил по улице Турнике; нередко старуха видела его вечером, не заметив, чтобы он прошел мимо них утром; да и возвращался он в разное время — не то что другие чиновники, которые заменяли г-же Крошар часы. Наконец, за исключением первой встречи, когда взгляд незнакомца внушил некоторое опасение старухе матери, его глаза больше ни разу не останавливались на живописной картине, которую представляли собой эти две женщины, похожие на духов подземелья. Если не считать двух парадных дверей и темной скобяной лавки, на улицу Турнике выходили в те времена лишь решетчатые окна, слабо освещавшие лестницы нескольких соседних домов. Следовательно, отсутствие любопытства у прохожего нельзя было объяснить каким-нибудь опасным соперничеством. Вот почему г-жа Крошар была задета за живое, видя своего «черного господина» неизменно серьезным и сосредоточенным; взгляд его был вечно прикован к земле или устремлен вдаль, словно он хотел прочесть будущее в сыром тумане улицы Турнике. Но как-то утром, в конце сентября, шаловливое личико Каролины Крошар выступило таким сияющим видением на темном фоне комнаты, среди запоздалых цветов и поблекшей листвы растений, обвившихся вокруг железных прутьев решетки, и это обычное зрелище явило такой чудесный контраст света и тени, белых и розовых тонов, прекрасно гармонировавших с муслином, над которым трудилась хорошенькая вышивальщица, и с красновато-коричневой обивкой кресел, что незнакомец очень внимательно посмотрел на столь эффектную живую картину. По правде сказать, старуха мать, раздосадованная безразличием «черного господина», принялась так громко стучать своими шпульками, что, может быть, именно этот необычный шум и заставил угрюмого, озабоченного прохожего заглянуть к ним в окошко. Неизвестный обменялся с Каролиной быстрым взглядом, но и этого было достаточно, чтобы между ними установилась мимолетная близость и у обоих возникло предчувствие, что они станут думать друг о друге. Около четырех часов дня неизвестный возвращался обратно; Каролина узнала его шаги, гулко отдававшиеся по улице, и когда девушка и незнакомец взглянули друг на друга, это уже было сделано преднамеренно как с той, так и с другой стороны; в глазах прохожего появилось дружелюбное выражение, и он улыбнулся, а Каролина покраснела; старуха мать наблюдала за обоими с довольным видом. С того памятного утра «черный господин» стал проходить по улице Турнике дважды в день, и если изредка он не появлялся, обе женщины отмечали это как исключение. Судя по тому, что незнакомец возвращался со службы в разное время, они решили, что он не мелкая сошка, ибо простой чиновник обычно не задерживается в присутствии и уходит домой в определенный час.

В течение трех первых месяцев зимы Каролина и прохожий виделись, таким образом, по два раза в день — в те короткие мгновения, когда он проходил мимо ее окон. День от дня это мимолетное свидание принимало более дружелюбный характер и в конце концов создало между ними нечто вроде братской близости. Каролина и незнакомец, казалось, уже стали понимать друг друга; вглядываясь в знакомые черты, они изучили их до тонкости. Вскоре появления прохожего стали как бы визитами, которые он наносил Каролине; если случайно «черный господин» проходил мимо, не послав ей мимолетной улыбки, в которую складывался его выразительный рот, или ласкового взгляда своих карих глаз, ей весь день чего-то не хватало. Она походила на стариков, для которых чтение газеты стало таким привычным удовольствием, что на следующий день после большого праздника они чувствуют себя выбитыми из колеи и по рассеянности или от нетерпения отправляются за газетой, помогающей им на несколько минут заполнить пустоту своего существования. Как для незнакомца, так и для Каролины эти беглые встречи приобрели интерес непринужденной, дружеской беседы. Девушка не могла утаить от внимательного взгляда своего молчаливого друга грусти, беспокойства или недомогания, а ему не удавалось скрыть свои заботы от Каролины. «У него были вчера неприятности», — эта мысль часто приходила в голову вышивальщице при виде изменившегося лица «черного господина». «О, ему пришлось много работать!» — восклицала Каролина, судя по каким-то другим признакам, которые только она умела различать. Незнакомец тоже угадывал, когда девушка проводила воскресенье за работой, чтобы закончить платье, узор которого ему хотелось бы видеть. Он замечал беспокойство, омрачавшее это хорошенькое личико при приближении срока уплаты за квартиру, и угадывал, когда Каролина не спала ночь, сидя за пяльцами; но главное, он видел, что с каждым днем их знакомства рассеивались грустные мысли, старившие ее нежные и веселые черты. Когда зима высушила стебли и листья садика, разбитого на подоконнике, а окно закрылось, незнакомец улыбнулся понимающей улыбкой, заметив необычайное освещение на уровне головки Каролины. Скупость, с которой женщины расходовали топливо, красные пятна на их лицах выдали «черному господину» крайнюю бедность их маленького хозяйства; но едва только выражение глубокого сочувствия появлялось в его взгляде, Каролина гордо отвечала на это притворной веселостью. Однако чувство, пробудившееся у Каролины и незнакомца, оставалось погребенным в глубине их сердец; ничто не открыло ни ему, ни ей силы и искренности этого чувства. Безмолвные друзья, они даже не слышали голоса друг друга. Более тесный союз страшил их как несчастье. Казалось, что каждый из них боялся принести другому более тяжкое горе, чем то, которое ему хотелось разделить. Что останавливало их? Стыдливость дружбы? Опасения, подсказанные эгоизмом или жестоким недоверием, разъединяющим людей в стенах большого города? Или, быть может, внутренний голос предупреждал их о грозящей опасности? Было бы трудно объяснить чувство, которое и привлекало их друг к другу, и отталкивало, пробуждало то равнодушие, то любовь, сближало в безотчетном стремлении и разъединяло в действительности. Возможно, каждому из них хотелось сохранить свои иллюзии. Иногда казалось, что незнакомец опасается услышать грубые слова из девичьих уст, свежих и чистых, как цветок, а Каролина считает себя недостойной этого таинственного человека, в котором все говорит о власти и богатстве. Что касается г-жи Крошар, то эта нежная мать теперь почти сердилась на нерешительность дочери и недовольно посматривала на «черного господина», тогда как прежде всегда улыбалась ему любезно, почти подобострастно. Никогда еще она так горько не жаловалась дочери на то, что ей, больной старухе, приходится заниматься стряпней, никогда еще ревматизм и катар горла не вызывали у нее таких жалобных стонов; наконец, за эту зиму ей не удалось сплести столько тюля, сколько Каролине нужно было для вышивания. Потому-то в конце декабря, когда хлеб бывает особенно дорог (а в 1816 году цена на хлеб так возросла, что зима оказалась особенно тяжелой для бедняков), прохожий заметил на лице девушки, имени которой он не знал, глубокую озабоченность, и даже его приветливой улыбке не удалось ее рассеять. Вскоре он понял по глазам Каролины, по ее изнуренному виду, что она проводит ночи за работой. Однажды, в конце того же месяца, прохожий, вопреки обыкновению, возвращался по улице Турнике-Сен-Жан около часу ночи. Подходя к дому, где жила Каролина, он еще издали услышал в ночной тишине плаксивый голос старухи и другой, более скорбный, молодой голос, звуки которых сливались с шумом дождя, падавшего вперемешку со снегом. Он осторожно приблизился к дому, затем, рискуя быть арестованным, притаился у окна, чтобы послушать, о чем говорят мать и дочь, одновременно наблюдая за ними сквозь одну из дыр в пожелтевших муслиновых занавесках, похожих на капустные листья, изъеденные гусеницами. Любопытный прохожий увидел на столе, разделявшем пяльцы и тамбур, гербовую бумагу; между двумя шарами с водой стояла лампа, при ее свете незнакомец без труда узнал повестку о вызове в суд. Г-жа Крошар плакала, а в голосе Каролины слышались гортанные нотки, искажавшие ее мягкий, ласкающий тембр.

— Зачем отчаиваться, матушка? Господин Молине не продаст нашей мебели и не выгонит нас, пока я не закончу этого платья; еще две ночи, и я отнесу его госпоже Роген.

— А что, если она, как обычно, не заплатит сразу? Да и денег-то этих не хватит. За квартиру отдадим, а с булочником чем рассчитаемся?

Свидетель этой сцены давно привык разбираться в выражении лиц, и ему показалось, что в отчаянии матери было столько же фальши, сколько искренности в горе дочери. Он тотчас же отошел от окна. Вернувшись несколько минут спустя, он вновь посмотрел сквозь отверстие в муслиновых занавесках. Мать уже легла, девушка, склонившись над пяльцами, трудилась с неутомимым усердием. На столе рядом с повесткой лежал треугольный ломоть хлеба, очевидно, положенный сюда не только для подкрепления сил девушки в бессонную ночь, но и как напоминание о награде, которая ждет ее за проявленное мужество. Незнакомец вздрогнул от жалости и боли. Он бросил свой кошелек в окно, — стекло в нем было как раз разбито, — с таким расчетом, чтобы кошелек упал к ногам девушки; затем, даже не насладившись ее удивлением, поспешно скрылся. Сердце у него сильно билось, щеки пылали. На следующий день грустный и замкнутый незнакомец прошел мимо Каролины, напустив на себя сугубо озабоченный вид. Однако ему не удалось избежать благодарности девушки; еще до его появления она открыла окно и принялась разрыхлять ножом покрытую снегом землю в деревянном ящике. Этот неловкий и трогательный предлог дал ясно понять незнакомцу, что на этот раз она не хочет смотреть на него сквозь стекло. Устремив на своего благодетеля глаза, полные слез, вышивальщица поклонилась ему, как бы говоря: «Я могу вам отплатить только сердцем». Но «черный господин» сделал вид, что ничего не понимает в выражении этой искренней признательности. Вечером, когда он возвращался, Каролина, которая в это время заклеивала бумагой разбитое стекло, улыбнулась ему улыбкой, подобной обещанию, сверкнув ослепительной белизной зубов. С тех пор «черный господин» избрал другой путь и больше не показывался на улице Турнике.

Как-то в субботу, в первых числах мая, Каролина поливала из стакана жимолость в ящике и, заметив между рядами черных домов клочок голубого неба, сказала:

— Матушка, поедемте-ка завтра погулять в Монморанси.

Не успела она весело произнести эту фразу, как появился «черный господин», более грустный и подавленный, чем когда-либо. Робкий и ласковый взгляд, брошенный ему Каролиной, мог быть понят как приглашение. И на другой день, когда г-жа Крошар в длинном пальто из красновато-коричневой мериносовой ткани, в шелковой шляпе и полосатой шали — подделке под кашемир — явилась на угол улиц Фобур-Сен-Дени и Анген, чтобы сесть в «кукушку»[[4]](#footnote-4), она увидела там своего незнакомца, явно поджидавшего кого-то. Радостная улыбка появилась на его лице, когда он заметил Каролину. Ножки ее были обуты в прюнелевые башмачки цвета «блошиной спинки», ветер, столь опасный для дурно сложенных женщин, раздувал белое платье, обрисовывая пленительные формы; а лицо, выглядывавшее из-под соломенной шляпки, подбитой розовым шелком, было, казалось, озарено небесным сиянием; широкий коричневый пояс подчеркивал стройность талии, тонкой, как тростинка, а темные волосы, разделенные прямым пробором и зачесанные на уши, оттеняли белоснежный лоб и придавали девушке целомудренно-наивный вид, соответствовавший всему ее облику. От предвкушения удовольствия Каролина казалась такой же легкой, как рисовая соломка ее шляпки; заметив «черного господина», она вся загорелась надеждой, и это сияние затмило и праздничный ее наряд, и красоту. Неизвестный, видимо, колебался и, быть может, только при виде внезапной радости, вызванной его присутствием, решился сопутствовать вышивальщице. Он нанял кабриолет, запряженный довольно хорошей лошадью, и предложил г-же Крошар с дочерью занять в нем место для поездки в Сен-Ле-Таверни. Мать согласилась без лишних слов, но когда экипаж уже катил по дороге в Сен-Дени, она вспомнила о щепетильности и стала высказывать опасения, что они с дочерью, пожалуй, стеснят своего спутника.

— Может быть, сударь, вы желали поехать один в Сен-Ле? — спросила она с притворным добродушием, но тут же стала жаловаться на жару и в особенности на свой бронхиальный катар, который, по ее словам, всю ночь не дал ей сомкнуть глаз. Как только экипаж достиг Сен-Дени, г-жа Крошар, видимо, заснула; но ее похрапывание показалось подозрительным «черному господину»; он нахмурил брови и крайне недоверчиво посмотрел на старуху.

— Она спит, — наивно сказала Каролина, — кашель совсем замучил ее со вчерашнего вечера, и, наверное, она очень устала.

Вместо ответа спутник многозначительно улыбнулся, словно говоря девушке: «Невинное создание, ты не знаешь своей матери». Тем не менее, когда экипаж мягко покатил по длинной, обсаженной тополями аллее, ведущей в Обон, «черный господин», несмотря на свою недоверчивость, решил, что г-жа Крошар действительно уснула; а может быть, ему просто не хотелось разбираться, насколько притворным был этот сон. Красота ли неба, чистый ли деревенский воздух или пьянящий аромат распускающихся тополей, вербы и цветов боярышника тронули «черного господина», призывая его сердце пробудиться по примеру природы, или натянутость стала ему в тягость, а быть может, блестящие глаза Каролины ответили сочувствием на его беспокойные взгляды, но только он завел со своей юной спутницей беседу, неопределенную, как шелест деревьев под порывами легкого ветерка, своенравную, как полет бабочки в голубом воздушном просторе, непринужденную, как нежно-мелодичный голос полей, и, как этот голос, полную таинственной любви. Ведь в это время года природа похожа на трепетную невесту в подвенечном наряде и склоняет к наслаждению даже самые ледяные сердца! Чье сердце осталось бы холодным, чьи уста не выдали бы затаенных мыслей, когда, миновав темные улицы Марэ, проезжаешь утром впервые с прошлого года по чудесной, живописной долине Монморанси и, глядя на ее беспредельные дали, сознаешь, что можешь перевести свой взгляд на глаза, в которых тоже отражается беспредельность, но только беспредельность любви! Незнакомец нашел Каролину скорее веселой, чем остроумной, скорее сердечной, чем образованной; но если в ее смехе слышались шаловливые нотки, то слова сулили искреннее чувство. Когда на тонкие вопросы спутника девушка отвечала с непосредственностью, свойственной низшим классам, не знающим недомолвок светских людей, лицо «черного господина» оживало и словно перерождалось. Оно постепенно теряло омрачавшее его грустное выражение; затем мало-помалу на этом лице появился отблеск молодости и красоты, и Каролина почувствовала себя счастливой и гордой. Хорошенькая вышивальщица угадала, что ее благодетель давно лишен нежности и любви и уже не верит в женскую преданность. Наконец остроумное замечание, промелькнувшее в легкой болтовне Каролины, согнало с лица незнакомца последнюю тень, скрывавшую его молодость и изменявшую его истинное выражение. Он, по-видимому, окончательно отмахнулся от докучливых мыслей и проявил душевный пыл, о котором позволяло догадываться его лицо. Незаметно беседа приняла столь дружеский характер, что, когда экипаж остановился у первых домов широко раскинувшегося селения Сен-Ле, Каролина уже называла незнакомца г-ном Роже. Только тут старуха мать пробудилась.

— Каролина, она, должно быть, все слышала, — прошептал подозрительный Роже на ухо девушке.

Каролина ответила восхитительной улыбкой сомнения, и ее улыбка рассеяла тень, которая вновь омрачила лицо этого недоверчивого человека, опасавшегося тайного расчета со стороны матери. Ничему не удивляясь, г-жа Крошар все одобрила и последовала за дочерью и г-ном Роже в парк Сен-Ле, куда молодые люди сговорились отправиться, чтобы осмотреть цветущие луга и живописные рощи, прославленные королевой Гортензией, которая так любила эти места.

— Боже мой, до чего здесь красиво! — воскликнула Каролина, поднявшись на зеленую возвышенность, откуда начинается лес Монморанси: девушка увидела у своих ног огромную долину с разбросанными там и сям деревнями, синеватые холмистые дали, колокольни, луга и поля, а до слуха ее долетел разноголосый шум, похожий на рокот морского прибоя. Путники прошли по берегу искусственно созданной речки до «швейцарской долины» и остановились у Шале, куда не раз приходили королева Гортензия и Наполеон. Когда Каролина с благоговением уселась на поросшую мхом деревянную скамью, где некогда отдыхали короли, принцессы и император, г-же Крошар захотелось рассмотреть поближе перекинутый между скалами мостик, видневшийся вдалеке, и она направилась к этой сельской достопримечательности, оставив дочь под охраной г-на Роже; однако она предупредила девушку, что не будет терять их из виду.

— Как, милое дитя, — воскликнул Роже, — неужели вы никогда не желали богатства и наслаждений роскоши? Неужели вам не хочется носить те красивые платья, которые вы вышиваете?

— Я бы солгала вам, господин Роже, если бы сказала, что не думаю о счастье, которым наслаждаются богатые. О да, я часто мечтаю, особенно перед сном, о том, как было бы хорошо, если бы моей бедной матушке не приходилось больше ходить во всякую погоду за провизией для нашего маленького хозяйства, ведь у нее больные ноги! Мне хотелось бы, чтобы по утрам прислуга подавала ей в постель очень сладкий кофе с настоящим очищенным сахаром. Бедная моя старушка любит читать романы. Так вот, я предпочла бы, чтобы она портила себе глаза за чтением, а не за работой, передвигая с утра до ночи шпульки. Ей необходимо немного хорошего вина. Словом, я хотела бы знать, что она счастлива; она такая добрая!

— Значит, она всегда была добра к вам?

— О да, — ответила девушка с глубочайшей искренностью. И после короткой паузы, во время которой молодые люди наблюдали за г-жой Крошар, а та, достигнув середины мостика, грозила им пальцем, Каролина продолжала: — О да, очень добра. Как она заботилась обо мне, когда я была маленькая!.. Она продала все свое столовое серебро, чтобы отдать меня в учение к старой деве, у которой я научилась вышивать. А мой несчастный отец! Сколько труда она положила, чтобы скрасить его последние минуты! — При этой мысли девушка вздрогнула и закрыла лицо руками. — Ну, да что там! Не будем вспоминать о прошлых горестях, — проговорила она, стараясь вновь развеселиться. Заметив, что Роже растроган, она покраснела и больше не решилась на него взглянуть.

— Чем занимался ваш отец? — спросил он.

— До революции отец был танцором в Опере, — сказала она с милой непосредственностью, — а мать — хористкой. Отцу на сцене не раз приходилось руководить военными действиями. А когда он случайно оказался при взятии Бастилии, некоторые из осаждающих узнали его и спросили, не решится ли он командовать атакой, но настоящей, не такой, как в театре. Мой отец был храбрый человек, он согласился и повел восставших; затем он был произведен в капитаны, вступил в ряды армии Самбры-и-Мезы и вскоре так проявил себя, что получил повышение, стал полковником. Но он был серьезно ранен при Люцене, проболел целый год и вернулся в Париж умирающим. Когда к власти пришли Бурбоны, мать уже не могла выхлопотать пенсию, мы оказались без гроша и нам пришлось зарабатывать себе на кусок хлеба. С некоторых пор моя старушка стала прихварывать. Теперь у нее уже нет прежнего смирения; она жалуется, я ее понимаю; она знала радость, счастье; я же не могу сожалеть о наслаждениях, потому что не испытала их. Я прошу у неба лишь одного...

— Чего? — с живостью спросил Роже, задумчиво глядевший на девушку.

— Чтобы дамы всегда носили вышитый тюль и никогда не было бы недостатка в работе.

Искренность этих признаний тронула молодого человека, и он уже не так враждебно посмотрел на г-жу Крошар, когда та медленным шагом приблизилась к ним.

— Ну, что, детки, всласть поболтали? — спросила она с насмешливой снисходительностью. — Подумать только, господин Роже, что *маленький капрал* [[5]](#footnote-5) сидел там, где вы находитесь, — продолжала она после минутного молчания. — Несчастный! — прибавила она. — Мой муж без памяти любил его. Хорошо, что Крошар умер: он слишком бы страдал, зная, куда они его упрятали.

Роже приложил палец к губам, и славная старуха проговорила, качая головой:

— Ладно, буду держать язык за зубами. Но, — прибавила г-жа Крошар, расстегивая ворот лифа и показывая золотой крест с красной лентой, который она носила на черном шелковом шнурке, — они не помешают мне хранить то, чем он наградил моего бедного Крошара, и я, конечно, унесу этот орден с собою в могилу...

Такие слова считались в те времена крамольными, и Роже прервал старуху, быстро встав с места. Они вернулись в деревню по аллеям парка. Молодой человек отлучился на несколько минут, чтобы заказать обед у лучшего ресторатора Таверни, потом зашел за женщинами и повел их по лесным тропинкам в ресторацию. Обед прошел очень оживленно. Роже уже не напоминал мрачную тень, проходившую некогда по улице Турнике. Он походил не на «черного господина», а скорее на доверчивого юношу, готового отдаться течению жизни, как и эти две беззаботные труженицы, у которых завтра же, возможно, не будет хлеба. Он, казалось, переживал радость первых лет жизни, в его улыбке мелькало что-то ласковое, детское. Когда около пяти часов вечера веселый обед закончился несколькими бокалами шампанского, Роже первый предложил отправиться на деревенский бал, устроенный под сенью каштанов, где они с Каролиной присоединились к танцующим. Пальцы молодой пары сплетались сами собой, сердца бились от одной и той же надежды, и под голубым сводом неба, при свете косых красных лучей заходящего солнца глаза влюбленных приобрели блеск, затмивший для каждого из них сияние небосвода. Странным могуществом обладает мысль или желание! Все им казалось возможным! В те чарующие мгновения, когда радость озаряет даже будущее, душа не предвидит ничего, кроме счастья. Для них обоих этот чудесный день уже был полон воспоминаний, с которыми ничто не могло сравниться в прошлом. Неужели источник прекраснее реки, надежда лучше обладания, а желание привлекает нас больше того, что дает действительность?

— Вот и день уже прошел! — вырвалось у Роже, когда кончились танцы; Каролина взглянула на него с состраданием, заметив на его лице легкую тень грусти.

— Почему бы вам не быть таким же жизнерадостным в Париже, как и здесь? — спросила она. — Разве счастье только в Сен-Ле? Мне кажется, что теперь я уж никогда не буду чувствовать себя несчастной.

Роже вздрогнул при этих словах, внушенных тем невольным порывом нежности, который увлекает женщин дальше, чем они хотели бы, точно так же, как показная добродетель заставляет их казаться более жестокими, чем это свойственно им на самом деле. В первый раз с тех пор, как Каролина и Роже обменялись взглядом, положившим начало их дружбе, им пришла одна и та же мысль; если они и не высказали этой мысли, то поняли ее одновременно, испытав ощущение, похожее на благодетельное тепло очага, которое заставляет позабыть о зимней стуже. Затем, точно опасаясь наступившего молчания, они направились к ожидавшему их экипажу, но прежде чем сесть в него, дружески взялись за руки и побежали по темной аллее впереди г-жи Крошар. Когда они потеряли из виду тюлевый чепец, который мелькал белым пятнышком среди листвы, указывая им, где находится в эту минуту старуха мать, Роже остановился и с сильно бьющимся сердцем взволнованно сказал: «Каролина...» Девушка отпрянула в смущении, поняв скрытую за этим просьбу. Все же она протянула руку, которую Роже горячо поцеловал, но девушка тотчас же отняла ее, так как, поднявшись на цыпочки, увидела мать. Г-жа Крошар сделала вид, будто ничего не заметила. Можно было подумать, что, вспомнив о своих прежних ролях, она решила фигурировать здесь только a parte[[6]](#footnote-6).

История этой молодой пары недолго продолжалась на улице Турнике. Каролину и Роже вскоре можно было встретить в центре современного Парижа, где в недавно построенных домах существуют квартирки, словно нарочно отделанные для того, чтобы люди проводили в них медовый месяц. Свежесть росписи и обоев здесь под стать счастью молодых супругов, а убранство комнат отличается той же прелестью новизны, что их любовь. Все соответствует там молодости и бурным страстям. В середине улицы Тетбу стоял дом, каменные стены которого не утратили белизны, на колоннах вестибюля и на входной двери не было ни единого пятна, а внутри все блестело глянцем свинцовых белил, вошедших в моду после возобновления наших сношений с Англией. На третьем этаже этого дома приютилась квартирка, так прелестно отделанная архитектором, словно он предугадал ее назначение. Простая чистенькая передняя, оштукатуренная до половины человеческого роста, вела в гостиную и маленькую столовую. Гостиная сообщалась с уютной спальней, к которой примыкала ванная комната. Над каминами висели большие зеркала в красивых рамах. Двери были расписаны с большим вкусом, а карнизы отличались строгостью и простотой линий. Истинный ценитель отметил бы здесь прежде всего чувство меры и изысканность отделки, свойственные произведениям наших современных архитекторов. Уже около месяца Каролина жила в этой квартирке, обставленной одним из тех мастеров, которые работают под руководством художника. Достаточно будет краткого описания спальни, чтобы дать понятие о чудесах, представших перед взором Каролины, когда ее впервые привел туда Роже. Стены этой важнейшей в квартире комнаты были обтянуты серой тканью с зелеными шелковыми аграмантами. Мебель легкой, изящной формы, обитая светлым кашемиром, говорила о том, что она создана по последнему капризу моды; комод из грушевого дерева с тонкой коричневой инкрустацией был полон роскошных уборов и драгоценностей; письменный стол в том же стиле предназначался для того, чтобы писать надушенные любовные записки; кровать, задрапированная в античном вкусе, навевала мысли о сладострастной неге воздушной мягкостью муслиновых покрывал; серые шелковые занавески с зеленой бахромой были неизменно задернуты, чтобы смягчать яркий дневной свет; бронзовые часы изображали Амура, украшающего венком голову Психеи[[7]](#footnote-7). И, наконец, красноватый ковер с готическим рисунком еще ярче подчеркивал все мелочи этого восхитительного уголка. Перед большим зеркалом сидела за туалетным столиком бывшая вышивальщица, теряя терпение от медлительности Плезира, знаменитого парикмахера.

— Можно ли надеяться, что вы закончите сегодня мою прическу? — спросила она.

— Сударыня, у вас такие длинные, такие густые волосы, — ответил Плезир.

Каролина не могла удержаться от улыбки; лесть мастера парикмахерского искусства, очевидно, пробудила у нее воспоминание о друге, всегда страстно хвалившем красоту ее волос, которые он обожал. Когда парикмахер ушел, появилась горничная, и Каролина стала советоваться с ней, какое надеть платье для Роже. Было начало сентября 1816 года, становилось холодно; пришлось выбрать платье из зеленого гренадина, отделанное серебристо-серым мехом. Как только туалет был закончен, Каролина выбежала в гостиную и распахнула стеклянную дверь, которая выходила на изящный балкон, украшавший фасад дома. Скрестив руки на груди, она облокотилась на коричневые железные перила и застыла в прелестной позе, вглядываясь в ту часть бульвара, что зеленеет в конце улицы Тетбу; она не замечала восхищения прохожих, которые оборачивались, чтобы взглянуть на нее. В узком просвете между домами, который можно было бы сравнить с глазком, проделанным артистами в театральном занавесе, виднелось множество элегантных экипажей и фигуры прохожих, причем все это мелькало с быстротой китайских теней. Не зная, придет ли Роже пешком или приедет в экипаже, бывшая вышивальщица с улицы Турнике всматривалась и в прохожих и в тильбюри — легкие двуколки, недавно ввезенные во Францию англичанами. Но когда после пятнадцатиминутного ожидания ни зоркие глаза, ни сердце Каролины не указали ей в толпе того, кого она ждала, выражение нежности сменилось у нее гримаской неудовольствия. Каким пренебрежением, каким равнодушием дышало красивое юное личико Каролины при виде всех этих существ, которые кишели, как муравьи, у ее ног! Ее лукавые серые глаза сияли. Поглощенная своей любовью, она избегала восторженных взглядов с таким же старанием, с каким даже самые гордые женщины стремятся собрать эту дань поклонения во время своих прогулок по Парижу, и, конечно, ничуть не заботилась о том, сотрется ли завтра же из памяти прохожих, которые любовались ею, воспоминание о её склоненном белом личике, о ее живых, кокетливых глазах и хорошеньком вздернутом носике. Она видела перед собой только одно лицо, была поглощена единственной мыслью. Когда голова знакомой гнедой лошади появилась из-за высоких домов, Каролина вздрогнула и поднялась на цыпочки, чтобы рассмотреть белые вожжи и окраску тильбюри. Это он. Роже заворачивает за угол, видит балкон, подстегивает лошадь, та ускоряет ход и вскоре останавливается у коричневой входной двери, которая ей знакома так же хорошо, как и ее хозяину. Слыша радостный возглас хозяйки, горничная открывает дверь, не дожидаясь звонка. Роже вбегает в гостиную, прижимает Каролину к груди и целует ее с той страстной нежностью, которая прорывается при редких встречах двух любящих людей. Он увлекает ее, или, вернее, движимые одной и той же волей, не разжимая объятий, они направляются в свою прелестную комнатку, уютную и благоуханную. Перед камином их ждет диванчик, они опускаются на него и с минуту молча смотрят друг на друга, выражая свои мысли долгим взглядом, а счастье — крепким пожатием рук.

— Радость моя! Я заждалась тебя! — проговорила наконец Каролина. — Знаешь, ведь мы не виделись три дня, три долгих дня. Целую вечность! Но что с тобой? Ты огорчен?

— Моя бедная Каролина...

— Ну, вот... «моя бедная Каролина»...

— Нет, не смейся, мой ангел: нам не удастся пойти сегодня в Фейдо.

Каролина сделала недовольную гримасу, но тотчас же ее лицо прояснилось.

— Какая я глупая! Могу ли я думать о театре, когда вижу тебя? Смотреть на тебя — разве это не единственное зрелище, которое я обожаю? — воскликнула она, гладя волосы Роже.

— Я должен быть у генерального прокурора, мы разбираем сейчас одно очень щекотливое дело. Я встретил прокурора в зале заседаний, и, так как мне придется выступать по этому делу от имени суда, он пригласил меня обедать; но, дорогая, ты можешь пойти в Фейдо с мамой, я заеду туда за вами, если совещание кончится рано.

— Пойти в театр без тебя? — воскликнула она с удивлением. — Какое же это удовольствие, если ты не разделишь его со мной?.. Ах, Роже, вы заслуживаете... поцелуя, — прибавила она, с наивной страстностью бросаясь ему на шею.

— Каролина, я должен заехать домой переодеться. До Марэ далеко, а мне еще надо закончить несколько дел.

— Сударь, — заметила Каролина, перебивая его, — будьте осторожны. Маменька предупредила меня, что как только мужчина начинает ссылаться на дела, — это значит, что он разлюбил.

— Каролина, ведь я же приехал, ведь я урвал этот час у моей безжалостной...

— Молчи, — сказала она, прижимая пальчик к губам Роже, — молчи, разве ты не понимаешь, что я шучу?

Они перешли в гостиную, и Роже заметил там вещь, которую утром принес столяр-краснодеревщик. То были старые пяльцы из розового дерева, кормившие Каролину и ее мать, когда они жили на улице Турнике-Сен-Жан: пяльцы были отделаны заново, и на них уже была натянута начатая по тюлю вышивка, поражавшая красотой и сложностью узора.

— Ну что ж, дорогой, сегодняшний вечер я проведу за работой. Вышивая, я мысленно перенесусь к тем дням, когда ты проходил под нашими окнами, не говоря ни слова, но все же поглядывая на меня, к тем дням, когда думы о тебе не давали мне всю ночь сомкнуть глаз. Милые мои пяльцы — самое прекрасное украшение моей гостиной, хотя я и получила их не от тебя. Ты еще ничего не знаешь, — сказала она, садясь на колени Роже, который опустился в кресло, не в силах преодолеть свое волнение. — Выслушай меня! Я хочу отдавать бедным все, что заработаю вышиванием. Ты сделал меня богатой. Как люблю я прелестное поместье Бельфей — и не за его красоту, а за то, что это ты мне его подарил! Но скажи, Роже, я хотела бы называться Каролиной де Бельфей, можно? Ты должен знать: законно ли это, допустимо ли?

Когда Роже, ненавидевший фамилию Крошар, утвердительно кивнул головой, Каролина проворно соскочила на пол и захлопала в ладоши.

— Мне кажется, — воскликнула она, — что тогда я буду связана с тобой еще крепче. Обычно девушка отказывается от своей фамилии и принимает фамилию мужа... — Назойливая мысль, которую она тотчас же отогнала, заставила ее покраснеть, она взяла его за руку и подвела к открытому фортепьяно. — Вот послушай, — проговорила она, — я теперь хорошо разучила сонату. — И легкие пальчики проворно забегали по клавишам, но вдруг она почувствовала, что руки Роже обхватили ее за талию и подняли на воздух.

— Каролина, мне пора, дорогая.

— Ты уходишь? Ну что же, иди, — сказала она надувшись; но, взглянув на часы, улыбнулась и воскликнула: — Все же мне удалось удержать тебя лишних четверть часа!

— Прощайте, мадемуазель де Бельфей, — проговорил он с нежной иронией.

Она подставила ему губы для поцелуя и проводила своего Роже до порога; когда же звук его шагов затих на лестнице, она выбежала на балкон. Ей хотелось видеть, как он садится в тильбюри и берет вожжи, поймать его последний взгляд, слышать щелканье бича, стук колес по мостовой, проводить глазами великолепную лошадь, шляпу ее хозяина, золотой галун грума и, наконец, еще долго смотреть вслед экипажу после того, как он скроется за темным углом улицы.

Пять лет спустя после переезда Каролины де Бельфей в красивый дом на улице Тетбу там можно было вторично наблюдать одну из тех сцен семейной жизни, которые еще теснее сближают два любящих существа. Мальчуган лет четырех играл посреди голубой гостиной, против окна, выходившего на балкон. Он поднимал страшный шум, стегая картонную лошадку, которая, по его мнению, недостаточно быстро двигалась на своей подставке-качалке. На его миловидном личике, обрамленном множеством белокурых локонов, ниспадавших на вышитый воротничок, появилась ангельская улыбка, когда мать, сидевшая в глубоком мягком кресле, сказала ему:

— Не шуми так, Шарль, разбудишь сестренку.

Тогда любопытный ребенок слез с лошадки и, как бы опасаясь звука собственных шагов, на цыпочках засеменил по ковру; приблизившись к Каролине, он положил пальчик в рот и застыл в одной из детских поз, которые так прелестны в своей непосредственности; затем приподнял белое кисейное покрывало, скрывавшее светлое личико девочки, уснувшей на коленях матери.

— Значит, Эжени спит? — произнес он с глубоким удивлением. — Почему она спит, когда мы уже проснулись? — прибавил он, широко раскрыв большие черные глаза.

— Это известно одному богу, — ответила Каролина, улыбаясь.

Мать и ребенок загляделись на маленькую девочку, окрещенную этим утром. В то время Каролине было двадцать четыре года и ее красота достигла полного расцвета среди безоблачного счастья и неизменных радостей любви. Все в ней дышало женственностью. С восторгом выполняя малейшее желание ненаглядного Роже, она приобрела кое-какие познания, которых ей недоставало: научилась довольно хорошо играть на фортепьяно и премило петь. Незнакомая с обычаями светского общества, которое все равно оттолкнуло бы ее (она и сама не стала бы выезжать в свет, даже если бы была там принята, ибо счастливая женщина не ведет светского образа жизни), Каролина не переняла ни особого изящества манер, ни умения вести многословный, но пустой разговор, принятый в гостиных; зато она старательно усвоила все, что необходимо знать матери, единственное честолюбие которой заключается в том, чтобы хорошо воспитать своих детей. Никогда не разлучаться с сыном, неустанно, с колыбели, твердить ему наставления, которые лучше всего прививают юным душам любовь к добру и красоте, — предохранять его от дурных влияний и сочетать тяжелый уход няньки со сладостными обязанностями матери — таковы были ее единственные радости. С первых же дней любви это скромное и кроткое создание настолько примирилось с жизнью, ограниченной пределами волшебного мира, в котором заключалось все ее счастье, что после шестилетнего нежнейшего союза она ничего не знала о своем друге, кроме имени Роже. В ее спальне висела гравюра с картины «Амур и Психея»: Психея со светильником в руке приближается, чтобы взглянуть на Амура вопреки его запрещению. Этот сюжет напоминал Каролине о том, что любопытство может погубить ее счастье. Желания ее были так скромны, что за все эти шесть лет она ни разу не оскорбила неуместным тщеславием Роже, сердце которого было настоящей сокровищницей доброты. Ни разу не пожелала она ни бриллиантов, ни других драгоценностей и постоянно отказывалась от роскоши иметь собственный выезд, хотя Роже десятки раз искушал ее этой покупкой. Ожидать на балконе появления его коляски, ходить с ним в театр, совершать в хорошую погоду прогулки по окрестностям Парижа, мечтать о свидании, видеться с любимым, вновь мечтать — такова была история ее жизни, бедной событиями, но богатой любовью.

Баюкая на коленях дочь, родившуюся несколько месяцев тому назад, Каролина с удовольствием погрузилась в воспоминания о прошлом. Особенно охотно она грезила о сентябрьских каникулах, когда Роже ежегодно увозил ее в Бельфей, чтобы провести там чудесные дни ранней осени, как будто принадлежащие одновременно всем временам года. Природа тогда особенно щедро дарит цветы и фрукты, вечера бывают теплые, утра — прозрачно-тихие, и осенняя грусть часто сменяется радостным сиянием лета. В первые дни любви Каролина приписывала ровное, мягкое обращение Роже их редким, всегда желанным встречам и особому укладу жизни, при котором им не приходилось постоянно бывать вместе как супругам. И Каролина с наслаждением припоминала, как она мучилась напрасными опасениями и со страхом наблюдала за ним во время их первого пребывания в маленьком поместье Бельфей, расположенном в Гатинэ. Напрасное шпионство любви! Каждый раз счастливый сентябрь месяц пролетал, точно сон, среди ничем не нарушаемого блаженства. Она всегда видела на устах этого доброго человека нежную улыбку, которая казалась отражением ее собственной улыбки. Глаза Каролины наполнились слезами при воспоминании об этих картинах, необычайно ярко оживших в памяти; ей показалось, что она недостаточно любит Роже, и захотелось считать свое двусмысленное положение своеобразною данью судьбе, даровавшей ей такую любовь. Наконец, охваченная непреодолимым любопытством, она в тысячный раз стала доискиваться, почему такой любящий человек наслаждался лишь тайным, незаконным счастьем. Она измышляла тысячи романов, но лишь для того, чтобы уклониться от правды, которую давно отгадала, хотя и закрывала на нее глаза. Каролина встала, держа спящую малютку на руках, и перешла в столовую, чтобы наблюдать там за приготовлениями к обеду. Этот день — шестое мая 1822 года — был годовщиной поездки в Сен-Ле, во время которой решилась ее судьба. Каждый год в этот день они с Роже справляли праздник любви. Каролина выдала для этого обеда парадное столовое белье, заказала изысканный десерт. С радостью позаботившись обо всем, что касалось Роже, она уложила дочку в красивую колыбель и вышла на балкон. Вскоре она увидела кабриолет, которым ее друг, уже достигший зрелого возраста, заменил прежний элегантный тильбюри. Ответив на первые горячие ласки Каролины и шалуна, называвшего его папой, Роже подошел к колыбели и склонился над ней, любуясь спящей дочерью. Он поцеловал ее в лобик, потом вынул из кармана фрака большой лист бумаги, испещренный черными строчками.

— Каролина, — сказал он, — вот приданое мадемуазель Эжени де Бельфей.

Мать с благодарностью взяла дарственную запись на крупную сумму государственного займа.

— Почему Эжени получит три тысячи франков дохода, а Шарль только тысячу пятьсот?

— Шарль, ангел мой, будет мужчиной, — ответил он, — ему достаточно и полутора тысяч; с таким доходом дельный человек не узнает нищеты. Если твой сын, вопреки ожиданиям, окажется ничтожеством, я не хочу способствовать его глупостям. Если же он будет честолюбив, то это скромное состояние внушит ему любовь к труду. А Эжени — женщина, ей нужно приданое.

Отец стал играть с Шарлем, резвость которого говорила о независимом характере и свободном воспитании. Ребенок нисколько не боялся отца, и ничто не нарушало того очарования, которое вознаграждает человека за обязанности отцовства. В этом тесном семейном кругу было по-настоящему радостно и хорошо.

Вечером, к большому удивлению Шарля, волшебный фонарь развернул на белом полотне занимательные и таинственные картины. Не раз наивная радость ребенка вызывала неудержимый смех Каролины и Роже. Позже, когда мальчика уложили спать, проснулась малютка и властным криком напомнила, что она голодна. При свете лампы, стоявшей около камина в этой уютной и веселой комнате, Роже всецело отдался своему счастью, созерцая пленительную картину, которую представляли собой Каролина в ореоле темных кудрей, ниспадавших на ее плечи, сверкающие белизной только что распустившейся лилии, и младенец, приникший к ее обнаженной груди. Свет лампы еще ярче оттенял прелесть молодой матери, мягко озаряя ее самое, ее белые одежды, головку ребенка и создавая повсюду живописные сочетания света и тени. Лицо этой спокойной, молчаливой женщины показалось Роже еще милее, и он ласково взглянул на ее красиво изогнутые алые губы, с которых ни разу не слетело ни одного резкого слова. Такое же нежное чувство промелькнуло в глазах Каролины, и она искоса взглянула на Роже, быть может, чтобы насладиться впечатлением, которое она на него производит, а быть может, чтобы отгадать, чем закончится этот вечер. «Неизвестный» понял ее кокетливый, выразительный взгляд и проговорил с притворной грустью:

— Мне надо ехать. Я должен еще закончить одно очень важное дело, по которому меня ждут дома. Долг прежде всего, не правда ли, дорогая?

Каролина посмотрела на него нежно и грустно, но с той покорностью, за которой угадывается боль принесенной жертвы.

— Прощай, — сказала она. — Иди! Если ты задержишься еще хоть на час, я не так легко отпущу тебя.

— Ангел мой, — ответил он тогда, улыбаясь, — я получил трехдневный отпуск, и все считают, что я нахожусь в двадцати лье от Парижа.

Через несколько дней после шестого мая — годовщины прогулки в Сен-Ле — Каролина де Бельфей спешила утром на улицу Сен-Луи в Марэ, в тот дом, где она бывала каждую неделю. Рассыльный принес ей известие, что г-жа Крошар, ее мать, умирает от осложнения, вызванного катаром и ревматизмом. В то время как извозчик погонял лошадей, по настойчивой просьбе Каролины, подкрепленной обещанием щедрых чаевых, богобоязненные старухи, которыми вдова Крошар окружила себя последнее время, привели священника в удобную и чистую квартиру третьего этажа, занимаемую бывшей хористкой. Служанка г-жи Крошар не знала, что красивая барышня, у которой часто обедала хозяйка, — ее дочь, и одна из первых стала настаивать на приглашении священника, надеясь, что это духовное лицо окажется ей самой не менее полезным, чем умирающей. В промежутке между партиями в бостон или во время прогулок по саду Тюрк старухам, с которыми любила посудачить вдова Крошар, удалось пробудить в очерствевшем сердце своей приятельницы угрызения совести при мысли о прошлом, смутную тревогу о будущем, страх перед адом и туманные надежды на прощение, основанное на искреннем возврате к религии. Итак, в это печальное утро три старухи, жившие на улице Сен-Франсуа и на улице Вье-Тампль, расположились в гостиной, где по вторникам их принимала г-жа Крошар. Каждая из них по очереди вставала с кресла и направлялась в соседнюю комнату, чтобы посидеть у изголовья бедной старухи и внушить ей те ложные надежды, которыми успокаивают умирающих. Но когда, по их мнению, конец был уже близок, а приглашенный врач заявил, что не отвечает за жизнь пациентки, старухи стали советоваться: не следует ли известить мадемуазель де Бельфей? Выслушав мнение служанки Франсуазы, они решили отправить рассыльного на улицу Тетбу и предупредить родственницу, чье влияние казалось весьма опасным этим четырем женщинам. Они надеялись, однако, что рассыльный слишком поздно уведомит молодую особу, пользовавшуюся чрезмерной любовью г-жи Крошар. Приятельницы лишь потому так заботливо ухаживали за вдовой, имевшей, по-видимому, не менее тысячи экю дохода, что ни одна из них, даже сама Франсуаза, не предполагала у нее наследников. Роскошь, окружавшая мадемуазель де Бельфей (г-жа Крошар никогда не называла ее дочерью, верная обычаям, существовавшим прежде в Опере), почти оправдывала план раздела имущества умирающей, созревший у четырех женщин.

Вскоре одна из колдуний, ухаживавших за больной, просунула в дверь свою трясущуюся голову и сказала встревоженным приятельницам:

— Пора посылать за аббатом Фонтаноном. Через два часа она уже ничего не будет соображать и у нее не хватит сил написать ни единого слова.

Старая, беззубая служанка тут же вышла из дому и вскоре вернулась с человеком в черном сюртуке.

У священника было самое обыденное лицо и узкий лоб — признак ограниченности. Толстые, отвислые щеки и двойной подбородок свидетельствовали об эгоистическом благополучии, а напудренные волосы придавали ему слащаво-любезный вид, но лишь до тех пор, пока он не поднимал своих маленьких глазок навыкате, которые вполне подошли бы к лицу какого-нибудь татарина.

— Господин аббат, — говорила Франсуаза, — я вам очень благодарна за советы; не забудьте, что я не щадя сил ухаживала за своей дорогой хозяйкой.

Служанка, шаркая шлепанцами, шла за священником и что-то бормотала с похоронным выражением лица, но мгновенно умолкла, увидев, что дверь квартиры отворена, а самая пронырливая из трех вдов дежурит на площадке, чтобы перехватить духовника. Любезно выслушав потоки приторно-благочестивых речей трех приятельниц умирающей, священник вошел в спальню г-жи Крошар и уселся у ее изголовья. Приличия ради три колдуньи и старая Франсуаза проявили известную сдержанность и остались в гостиной, где они старались перещеголять друг друга, строя скорбные мины, которые в совершенстве удаются лишь старухам с морщинистыми лицами.

— Вот беда-то! — воскликнула Франсуаза, вздыхая. — Это уже четвертая хозяйка, которую мне, на свое несчастье, придется хоронить. Первая оставила мне сто франков пожизненной ренты, вторая — пятьдесят экю, а третья — тысячу экю наличными. Вот все, что у меня есть после тридцатилетней службы.

Воспользовавшись своим правом свободно расхаживать по квартире, служанка отправилась в чуланчик, откуда можно было слышать слова священника.

— Я с удовольствием замечаю, дочь моя, — говорил Фонтанон, — что вы благочестивы: вы носите образок.

Госпожа Крошар с трудом подняла руку; умирающая, очевидно, не сознавала, что делает, ибо она показала священнику императорский орден Почетного легиона. Тот отшатнулся, узнав лицо Наполеона, однако тут же наклонился к своей духовной дочери, и она стала что-то говорить ему, но так тихо, что несколько минут Франсуазе ничего не удавалось расслышать.

— Проклятье тяготеет надо мной! — воскликнула вдруг старуха. — Не покидайте меня! Как, господин аббат, неужто, по-вашему, мне придется отвечать за душу дочери?

Тут священник настолько понизил голос, что Франсуаза не могла разобрать ни единого слова.

— Господи! Как же это! — плача, проговорила вдова. — Ведь негодяй не оставил мне ничего, чем бы я могла распорядиться. Он соблазнил мою бедную Каролину, разлучил меня с ней и назначил мне только три тысячи ливров дохода с капитала, принадлежащего дочери.

— У хозяйки есть дочь, а капиталу никакого, всего только пожизненная рента! — воскликнула Франсуаза, вбегая в гостиную.

Три старухи переглянулись с глубочайшим изумлением. Та из них, у которой нос чуть не касался подбородка, — черта, свидетельствующая о большой доле лицемерия и хитрости, — подмигнула приятельницам и, едва Франсуаза повернулась к ним спиной, сделала знак, означавший: «Прислуга — тонкая бестия, она уже сумела попасть в три завещания». Итак, старухи не тронулись с места; но вскоре появился аббат, и стоило ему сказать несколько слов, как три колдуньи кубарем скатились с лестницы, оставив Франсуазу одну с хозяйкой. Г-жа Крошар, страдания которой стали невыносимы, тщетно звонила служанке, та ограничивалась возгласами: «Слышу! Иду! Сейчас!» — а дверцы шкафов и комодов хлопали, словно Франсуаза отыскивала затерявшийся лотерейный билет. Когда приступ подходил к роковому концу, мадемуазель де Бельфей вбежала к матери, спеша успокоить ее ласковыми словами:

— Ах, бедная моя маменька, как я виновата перед тобой! Ты больна, а я и не знала об этом, сердце ничего не подсказало мне. Но вот я пришла...

— Каролина...

— Что?

— Они привели ко мне священника.

— Но надо позвать доктора, — продолжала мадемуазель де Бельфей. — Франсуаза, доктора! Почему твои приятельницы не послали за доктором?

— Они привели ко мне священника, — продолжала старуха, вздыхая.

— Как она страдает! И никакого успокоительного питья, никаких лекарств!

Мать сделала еле заметное движение, но проницательный взгляд Каролины отгадал ее желание, и молодая женщина умолкла, чтобы выслушать умирающую.

— Они привели ко мне священника... под видом исповеди. Берегись, Каролина, — с трудом проговорила старая хористка, делая над собой последнее усилие, — священник выпытал у меня фамилию твоего благодетеля.

— Но как ты могла узнать ее, моя бедная мама?

Старуха попыталась хитро подмигнуть дочери и в этот миг испустила дух. Если бы мадемуазель де Бельфей была в состоянии наблюдать за лицом матери, она увидела бы то, что никому не доступно: она увидела бы, как смеется Смерть.

Чтобы понять сущность этой сцены, следует на время забыть об ее действующих лицах и выслушать рассказ о предшествующих событиях, так как последнее из них непосредственно связано со смертью г-жи Крошар. Тогда из этих двух частей получится единая история, которая, по законам парижской жизни, пошла по двум различным путям.

В конце октября 1805 года молодой адвокат, лет двадцати шести от роду, спускался около трех часов ночи по парадной лестнице дворца, где жил канцлер Империи. Слегка подмораживало. Очутившись во дворе в своем бальном костюме, он не мог удержаться от восклицания, в котором наряду с досадой проступало редко покидающее французов веселье. Действительно, сквозь ограду дворца не было видно ни одного извозчика, а вдалеке не слышалось ни одного звука, напоминающего хриплый голос парижского кучера или цоканье лошадиных подков по мостовой. Только лошади министра юстиции, засидевшегося у Камбасереса за партией в буйот, время от времени били копытами о землю, и эти удары гулко отдавались во дворе, едва освещенном фонарями кареты. Молодой человек внезапно обернулся, почувствовав, что кто-то дружески хлопнул его по плечу; он узнал министра юстиции и поклонился ему. Когда лакей уже откидывал подножку кареты, бывший законодатель Конвента, отгадав затруднение адвоката, сказал ему весело:

— Ночью все кошки серы, и министр юстиции не скомпрометирует себя, если подвезет адвоката! В особенности, — прибавил он, — если этот адвокат — племянник старого коллеги, одного из светил государственного совета, подарившего Франции Кодекс Наполеона.

Итак, по приглашению главы имперской юстиции адвокат сел в карету.

— Где вы живете? — спросил министр, прежде чем лакей, ожидавший распоряжений, успел захлопнуть дверцу.

— На набережной Августинцев, ваше превосходительство.

Лошади тронули, и молодой человек оказался с глазу на глаз с министром, к которому напрасно пытался обратиться во время роскошного обеда, данного Камбасересом, так как тот явно избегал его весь вечер.

— Ну-с, господин де Гранвиль, мы на хорошем пути.

— Да, пока я еду рядом с вашим превосходительством.

— Я не шучу, — сказал министр. — Ваш испытательный срок закончился два года тому назад, а благодаря вашим выступлениям на процессах Симеза и Отсера вы сильно выдвинулись.

— Я полагал до сих пор, что моя преданность этим несчастным эмигрантам мне вредит.

— Вы очень молоды, — сказал министр серьезно. — Но сегодня вечером, — прибавил он, помолчав, — вы чрезвычайно понравились канцлеру. Вступайте в прокуратуру, нам не хватает людей. Племянник человека, к которому мы с Камбасересом относимся с живейшим участием, не должен оставаться адвокатом из-за отсутствия протекции. Ваш дядя помог нам пережить весьма тяжелые времена, а подобные услуги не забываются. — Министр опять помолчал. — У меня вскоре освободятся три места в суде первой инстанции и в парижском имперском суде, — продолжал он, — зайдите ко мне тогда и выберите то из них, которое вам подойдет. А до тех пор работайте, но не являйтесь ко мне в приемные часы. Во-первых, я завален работой, а во-вторых, конкуренты могут отгадать наши намерения и повредить вам в глазах патрона. Сегодня мы с Камбасересом нарочно не перемолвились с вами ни словом и этим уберегли вас от опасности прослыть фаворитом.

В ту минуту, когда министр произносил последние слова, карета остановилась на набережной Августинцев. Молодой адвокат сердечно поблагодарил своего великодушного покровителя и стал громко стучать в дверь, так как холодный ветер уже пробрался к нему под одежду. Наконец старый привратник открыл дверь и, когда адвокат проходил мимо его каморки, крикнул охрипшим голосом:

— Господин де Гранвиль, для вас письмо!

Молодой человек взял письмо, невзирая на холод, остановился и посмотрел на почерк при слабом свете уличного фонаря, фитиль которого грозил вот-вот погаснуть.

— Это от отца! — воскликнул он, беря свечу, которую не без труда зажег привратник. Он быстро поднялся к себе и прочел следующие строки:

«Садись в первую же почтовую карету; если тебе удастся немедленно приехать домой, тебя ждет богатство. У мадемуазель Анжелики Бонтан умерла сестра, она теперь единственная дочь, и нам известно, что ты ей небезразличен. Г-жа Бонтан должна оставить дочери около сорока тысяч франков годового дохода, не считая приданого, которое она за ней даст. Я подготовил почву. Наши друзья удивятся, узнав, что мы, старинные дворяне, готовы породниться с семьей Бонтанов. Папаша Бонтан был ярым якобинцем и скупил за бесценок множество земель из национального имущества[[8]](#footnote-8). Но, во-первых, это были монастырские угодья, которые никогда не вернутся прежним владельцам, а, во-вторых, если ты уж поступился своим дворянством, став адвокатом, почему бы нам не сделать еще одной уступки современным идеям? У девицы Бонтан будет триста тысяч франков, я дам тебе сто тысяч; да, кроме того, поместье твоей матери стоит около пятидесяти тысяч экю. При таком положении, дорогой сын, ты можешь не хуже всякого другого добиться звания сенатора, если только захочешь стать должностным лицом. Мой шурин, член государственного совета, конечно, палец о палец не ударит, чтобы продвинуть тебя, но так как он холост, его должность когда-нибудь перейдет к тебе в порядке преемственности, если только ты не станешь сенатором благодаря собственным заслугам. Ты взлетишь, таким образом, достаточно высоко, чтобы спокойно ожидать грядущих событий. Прощай, целую тебя».

Молодой Гранвиль лег спать, строя тысячи всевозможных предположений, одно радужнее другого. Он находился под могущественным покровительством канцлера, министра юстиции, а также своего дяди с материнской стороны, одного из составителей Кодекса. Молодому человеку предстояло начать карьеру на завидном посту, выступая в верховном суде, и он уже видел себя одним из членов прокуратуры, среди которых Наполеон избирал высших чиновников Империи. Кроме того, ему предлагали состояние, достаточно завидное, чтобы поддержать свой ранг в обществе, на что, конечно, не хватило бы скромного дохода в пять тысяч, который давало унаследованное от матери поместье. Эти честолюбивые мечты сменились грезой о счастье; он вызвал в памяти наивное личико Анжелики Бонтан, подруги детских игр. Пока он был мальчиком, родители не препятствовали его дружбе с хорошенькой дочкой соседа. Но затем, когда он стал ненадолго приезжать в Байе на каникулы, отец и мать, кичившиеся своим дворянством, заметили его склонность к девушке и запретили ему мечтать о ней. Таким образом, за последние десять лет Гранвиль видел лишь урывками ту, которую называл своей «маленькой невестой». Ускользнув из-под бдительного надзора своих семейств, молодые люди едва успевали обменяться несколькими банальными словами при беглых встречах в церкви или на улице. Самой большой радостью для них были сельские праздники, называемые в Нормандии собраниями, где они могли издали украдкой наблюдать друг за другом. Во время последних каникул Гранвиль дважды встретил Анжелику и, заметив опущенный взор и грустный вид своей «маленькой невесты», понял, что она подпала под чью-то деспотическую власть.

Прибыв в семь часов утра в контору почтовых сообщений на улице Нотр-Дам-де-Виктуар, Гранвиль нашел, к счастью, свободное место в почтовой карете, как раз отправлявшейся в город Кан. С глубоким волнением увидел начинающий адвокат колокольни собора Байе. Жизнь еще не обманула его надежд, и сердце легко раскрывалось навстречу прекрасным чувствам, волнующим юные души. После веселого, но слишком затянувшегося обеда, устроенного в честь его приезда отцом и несколькими друзьями, молодой человек, горя нетерпением, отправился в сопровождении отца в хорошо знакомый дом на улице Тентюр. Его сердце усиленно забилось, когда отец, которого продолжали величать в Байе графом де Гранвилем, громко постучал в облупившиеся зеленые ворота. Было около четырех часов вечера. Молодая служанка в полотняном чепчике встретила господ коротким реверансом и сказала, что хозяйки должны скоро вернуться от вечерни. Граф с сыном вошли в низкую комнату, служившую гостиной и похожую на монастырскую приемную. Панели из полированного орехового дерева придавали ей мрачный вид, по стенам в строгом порядке было расставлено несколько мягких стульев и старинных кресел. На камине вместо безделушек стояло зеленоватое зеркало, а по бокам его — два старинных изогнутых канделябра времен Утрехтского мира. Против камина, на деревянной обшивке стены, молодой Гранвиль увидел огромное распятие из черного дерева и слоновой кости, а вокруг него освященные ветви букса. Хотя все три окна гостиной выходили в провинциальный садик с симметричными клумбами, обсаженными рядами букса, в комнате было так темно, что едва удавалось различить на стенах три картины духовного содержания кисти какого-то крупного мастера; эти картины были куплены во время революции стариком Бонтаном, который, будучи начальником округа, никогда не забывал о собственной выгоде. Вокруг все сверкало поистине монастырской чистотой — от тщательно натертого пола до полотняных занавесок в зеленую клетку. Сердце молодого человека невольно сжалось в этом безмолвном доме, где жила Анжелика. Привычка вращаться в блестящих парижских гостиных и вихрь светских развлечений изгладили из памяти Гранвиля воспоминания о мрачном однообразии провинциальной жизни. И теперь этот контраст настолько поразил его, что он внутренне содрогнулся. Оказаться в кругу мелочных мыслей и понятий сразу же после общества, собирающегося у Камбасереса, где жизнь бьет ключом, в людях чувствуется размах и на всем лежит отблеск императорской славы, — не равносильно ли это тому, чтобы из Италии попасть прямо в Гренландию? «Жизнь здесь — прозябание», — подумал адвокат, рассматривая эту комнату, похожую на гостиную сектанта-методиста. Заметив удрученное состояние сына, старый граф взял его под руку, подвел к окну, за которым уже сгущались сумерки, и, пока служанка зажигала наполовину обгоревшие свечи в высоких подсвечниках, попытался рассеять тень, набежавшую на лицо молодого человека.

— Послушай, дитя мое, — сказал он сыну, — вдова папаши Бонтан — сущая ханжа. Накопила, верно, грехов, а теперь замаливает... Я вижу, ты морщишься при виде этой дыры. Выслушай же, в чем дело. Старуху осаждают попы, они убедили ее, что еще не поздно попасть на небо; и, желая задобрить апостола Петра, хранителя райских ключей, она решила его подкупить; ходит ежедневно к обедне, не пропускает ни одной церковной службы, причащается каждое божье воскресенье и развлекается, реставрируя часовни. Она подарила собору столько церковных облачений, стихарей и риз, украсила балдахин таким количеством перьев, что в нынешнем году, когда праздновался День тела господня, в церковь пришло не меньше народа, чем на место казни: всем хотелось полюбоваться во время крестного хода на священников в великолепном облачении и на заново вызолоченную церковную утварь. Зато дом Бонтанов — земля обетованная. Посмотри-ка на эти три картины — Доменикино, Корреджо и Андреа дель Сарто, — они стоят больших денег. Я едва уговорил старую сумасбродку не жертвовать их в пользу церкви.

— Но Анжелика? — с живостью спросил молодой человек.

— Если ты не женишься на ней, Анжелика погибла, — сказал граф. — Наши добрые пастыри посоветовали ей жить девственницей и мученицей, и мне стоило огромного труда пробудить ее сердечко. Ведь узнав, что она стала единственной наследницей, я заговорил с ней о тебе. Но как только вы поженитесь, ты увезешь ее в Париж. Замужество, водоворот и мишура светской жизни отвлекут ее от мыслей об исповедальнях, постах, власяницах и обеднях, которыми только и живут эти ханжи.

— Но будут ли изъяты из распоряжения духовенства те пятьдесят тысяч франков дохода, которые госпожа Бонтан...

— Вот мы и коснулись сути дела, — многозначительно заметил граф. — Мысль о том, чтобы привить черенок фамилии Бонтан к генеалогическому древу де Гранвилей, изрядно щекочет гордость вдовы Бонтан. Если дочь выйдет за тебя замуж, мамаша передаст ей все состояние в полную собственность, оставив за собой лишь право пользования доходом. Духовенство, разумеется, противится этому браку, но я уже велел сделать церковное оглашение; все готово, и через неделю ты будешь вне пределов досягаемости цепких когтей мамаши и ее аббатов. Ты возьмешь в жены самую красивую девушку в Байе, и плутовка не доставит тебе хлопот, так как она воспитана в строгих правилах. Ее плоть, как они выражаются, умерщвлялась постами, молитвами и, — прибавил он шепотом, — неумолимой дланью родной матери.

Раздался слабый стук в дверь, и граф умолк, решив, что сейчас войдет г-жа Бонтан с дочерью. На пороге появился суетливый мальчик-слуга, но, смущенный присутствием посторонних господ, поманил рукой служанку, которая подошла к нему. На мальчике была голубая суконная куртка, короткие полы которой болтались вокруг бедер, и голубые панталоны в белую полоску; волосы были острижены в кружок, и он весьма походил на церковного служку, столько притворного благочестия было написано у него на лице — выражение, свойственное обитателям того дома, где хозяйка — ханжа.

— Мадемуазель Гатьена, не знаете ли вы, где лежат книги для службы богоматери? Дамы из конгрегации[[9]](#footnote-9) Сердца господня устраивают сегодня в церкви молебствие.

Гатьена отправилась за книгами.

— А долго ли продлится служба, дружок? — спросил граф.

— О, самое большее полчаса.

— Пойдем взглянем на это, там бывают хорошенькие женщины, — сказал отец сыну. — К тому же посещение собора не повредит нам в общественном мнении.

Молодой адвокат нерешительно последовал за отцом.

— О чем задумался? — спросил граф.

— Задумался... задумался... А ведь я прав, отец.

— Ты еще ничего не сказал.

— Да, но я подумал, что от прежнего состояния у вас осталось десять тысяч ливров годового дохода, которые вы мне оставите, надеюсь, как можно позднее; если же вы намерены дать мне сто тысяч франков с тем, чтобы я вступил в глупейший брак, то разрешите мне попросить у вас только половину и остаться холостым. Я избегу таким образом несчастья и буду пользоваться состоянием, равным тому, которое могла бы принести мне ваша мадемуазель Бонтан.

— Ты с ума сошел!

— Нет, отец. Выслушайте меня. Министр юстиции обещал мне третьего дня место в парижской прокуратуре. Ваши пятьдесят тысяч франков, деньги, которыми я теперь располагаю и мой будущий оклад — все это составит двенадцать тысяч франков годового дохода. Так зачем же мне вступать в выгодный, но несчастный брак? Без него судьба моя будет во сто крат завиднее.

— Сразу видно, — ответил отец, улыбаясь, — что ты не жил при старом режиме. Разве нас, мужчин, может связать жена!..

— Но, отец, в наши дни брак стал...

— Что?! — воскликнул граф, прерывая сына. — Неужели правда то, что твердят мои старые товарищи по эмиграции? Неужели революция оставила нам в наследство суровые нравы, отравила нашу молодежь сомнительными принципами? Ты, пожалуй, еще начнешь мне толковать о нации, об общественной морали и бескорыстии, точь-в-точь как мой шурин-якобинец. Бог ты мой, что сталось бы с нами, не будь сестер императора!

Этот еще бодрый старик, которого крестьяне из его владений до сих пор называли сеньором де Гранвилем, произнес последние слова своей игривой тирады уже под сводом собора. Он обмакнул пальцы в святую воду и, несмотря на святость места, стал напевать мотив из оперы «Роза и Колá»; затем повел сына боковыми пределами, останавливаясь у каждой колонны, чтобы окинуть взглядом церковь и ряды верующих, выстроившихся, как солдаты на параде. Должно было начаться молебствие Сердцу господню. Дамы — члены конгрегации — уже разместились около клироса, и граф с сыном, пробравшись поближе к нему, прислонились к одной из наименее освещенных колонн, откуда взор мог охватить всю массу склоненных голов, похожую на луг, испещренный цветами. Внезапно в двух шагах от Гранвиля зазвенел голос, столь нежный, что, казалось, он не мог принадлежать человеческому существу, и поднялся ввысь, подобно трели первого весеннего соловья. Хотя с этим голосом сливалось множество других женских голосов и аккомпанемент органа, он отозвался в сердце молодого Гранвиля с такой силой, словно это были полные и чистые звуки гармониума. Парижанин обернулся и увидел девушку, склонившую головку; лицо ее было скрыто большими полями белой шелковой шляпы, но он подумал, что только с ее уст могла слететь эта дивная мелодия. Ему показалось, что он узнал Анжелику, несмотря на пальто из коричневой мериносовой ткани, совершенно скрывавшее ее фигуру, и он дотронулся до руки отца.

— Да, это она, — сказал граф, взглянув в сторону девушки. Затем старый аристократ кивнул старухе с бледным хитрым лицом и темными тенями вокруг глаз; она уже успела заметить вновь прибывших, хотя ее взгляд, казалось, ни на минуту не отрывался от молитвенника, который она держала в руках. Анжелика подняла лицо к алтарю, как бы для того, чтобы вдохнуть одуряющий запах ладана, клубы которого уже начинали окутывать молящихся. И тогда, при таинственном свете, который разливали по темному храму свечи и висящее посреди него большое паникадило, перед юношей предстал девичий образ, сразу поколебавший только что принятое решение. Белая муаровая шляпа с атласной лентой, завязанной под маленьким подбородком с ямочкой, обрамляла лицо с удивительно правильными чертами. Золотистые волосы, разделенные прямым пробором над узким, но изящно очерченным лбом, ложились на щеки, как тень листвы на цветущие чайные розы. Дуги бровей отличались чистотой рисунка, встречающейся у красивых китаянок. Орлиный нос был на редкость четко очерчен, а розовые лепестки губ казались любовно выведенными кистью искусного художника. Бледно-голубые глаза светились целомудренной наивностью. Гранвиль заметил в лице Анжелики некоторую замкнутость и сухость, но приписал это благочестивым чувствам, переполнявшим ее душу. Так как в церкви было холодно, слова молитвы слетали с ее уст в виде благоуханного облачка, обнажая при этом два ряда жемчужных зубов. Молодой человек невольно наклонился, чтобы вдохнуть ее божественное дыхание. Это движение привлекло внимание Анжелики; взгляд девушки, неподвижно устремленный на алтарь, упал на Гранвиля, и хотя его силуэт лишь неясно вырисовывался в полумраке, она узнала товарища детских игр. Воспоминание оказалось могущественнее молитвы, и необычайное сияние разлилось по ее лицу; она покраснела. Адвокат вздрогнул от радости, увидев, что надежды на загробную жизнь поблекли перед надеждой на любовь, а земные воспоминания затмили славу алтаря. Но его торжество длилось недолго. Анжелика опустила вуаль и, вполне овладев собой, снова запела, причем в ее голосе не слышалось ни малейшего волнения. Гранвиль почувствовал себя во власти одного непреодолимого стремления, и все его благоразумие улетучилось. К концу службы нетерпение молодого адвоката настолько возросло, что он не стал дожидаться, когда вдова Бонтан с дочерью вернутся домой, а тут же подошел поздороваться со своей «маленькой невестой». Знакомство робко возобновилось на паперти собора, в присутствии верующих. Г-жа Бонтан преисполнилась гордости, когда граф де Гранвиль предложил ей руку, а граф, вынужденный сделать это публично, был очень недоволен сыном за столь неуместную поспешность.

В течение двух недель, которые протекли между официальной помолвкой виконта де Гранвиля и Анжелики Бонтан и торжественным днем их бракосочетания, молодой человек подолгу засиживался в мрачной приемной, к которой успел привыкнуть. Он хотел приглядеться к характеру Анжелики, так как рассудок заговорил в нем на следующий же день после их встречи. Почти всегда он заставал невесту за одним и тем же занятием: сидя у столика из дерева святой Люции, она метила белье для приданого. Анжелика никогда первая не заговаривала о религии. Если молодой адвокат забавлялся, играя дорогими четками, лежавшими в зеленом бархатном мешочке, или же с усмешкой рассматривал ладанку — необходимую принадлежность этого орудия благочестия, Анжелика с умоляющим взглядом мягко отнимала у него четки и, молча положив их обратно в мешочек, тотчас же прятала его. Когда же Гранвиль позволял себе легкомысленно отзываться о некоторых религиозных обрядах, хорошенькая нормандка отвечала на его слова улыбкой непоколебимого убеждения.

— Надо или быть неверующим, или же верить всему, чему учит нас церковь, — говорила она. — Неужели вы хотели бы, чтобы матерью ваших детей была женщина без религиозных убеждений? Кто осмелится быть судьей между неверующими и богом? Могу ли я, со своей стороны, отвергать то, что признается церковью?

Благочестие юной Анжелики казалось таким трогательным, она бросала на молодого адвоката такие проникновенные взгляды, что минутами ему самому хотелось уверовать в бога. Глубокое убеждение невесты в том, что она находится на правильном пути, пробудило в сердце будущего чиновника судебного ведомства сомнения, которые девушка пыталась углубить. В то время Гранвиль совершил огромную ошибку, приняв за любовь обман чувств, веление страсти. Анжелика была так счастлива возможностью примирить голос сердца с голосом долга, отдавшись зародившейся с детства склонности, что адвокат, введенный в заблуждение, не мог разобрать, какой же голос звучит в ней сильнее. Ведь молодые люди всегда готовы поверить обещаниям хорошенького личика и судить о душе по красоте внешнего облика. Необъяснимое чувство побуждает их верить, что нравственное совершенство всегда совпадает с совершенством физическим. Если бы религия воспретила Анжелике отдаться своему чувству, оно вскоре увяло бы в ее сердце, как растение, политое кислотой. Но разве мог счастливый влюбленный распознать столь глубоко затаенный фанатизм? Такова была история любви Гранвиля в течение этих двух недель, прожитых им с таким же нетерпеливым волнением, с каким человек проглатывает книгу с интригующей развязкой. Жених внимательно присматривался к Анжелике, и она показалась ему кротчайшей из женщин, он даже готов был благодарить г-жу Бонтан, сумевшую внушить дочери религиозные принципы и этим подготовить ее к жизненным невзгодам. В день подписания рокового брачного контракта вдова Бонтан взяла с зятя торжественную клятву, что он будет уважать религиозные убеждения жены, предоставит ей полную свободу совести, позволит ходить в церковь, исповедоваться и причащаться так часто, как ей того захочется, и не станет навязывать ей своей воли при выборе духовника. В эту торжественную минуту Анжелика взглянула на жениха, и в глазах ее было столько чистоты и невинности, что Гранвиль, не колеблясь, принес требуемую клятву. На бледных губах аббата Фонтанона, духовного наставника всего семейства, промелькнула улыбка. Легким кивком головы Анжелика Бонтан обещала своему другу никогда не злоупотреблять предоставляемой ей свободой. Что касается старого графа, то он потихоньку насвистывал мотив: «Пойди посмотри, не идут ли они!»[[10]](#footnote-10)

Свадьбу праздновали, как это принято в провинции, несколько дней, а затем Гранвиль с молодой женой уехал в Париж, куда его призывало назначение товарищем прокурора при имперском суде департамента Сены. Когда супруги стали подыскивать квартиру, Анжелика воспользовалась влиянием, которое дает всем женщинам медовый месяц, и убедила мужа нанять большое помещение в нижнем этаже особняка, на углу улиц Вье-Тампль и Нев-Сен-Франсуа. Главная причина ее выбора заключалась в том, что квартира находилась в двух шагах от церкви на Орлеанской улице, а также по соседству с часовней на улице Сен-Луи. «У хорошей хозяйки всегда должны быть под рукой запасы», — пошутил муж. Анжелика справедливо заметила, что квартал Марэ, где они поселились, расположен неподалеку от Дворца правосудия и что там живут все чиновники судебного ведомства, у которых они были с визитами. Довольно большой сад тоже придавал ценность этой квартире в глазах молодоженов: детям — если господь пошлет им детей — будет где побегать; кроме того, при доме имелся обширный двор и хорошие конюшни. Товарищ прокурора предпочел бы жить в квартале Шоссе-д'Антен, где все молодо и полно жизни, где можно увидеть последние новинки моды, где по бульварам гуляет нарядная публика, а до театров и других развлечений рукой подать, но ему пришлось уступить вкрадчивым просьбам молодой жены, которая умоляла мужа исполнить ее первое желание, и в угоду ей он похоронил себя в Марэ. Занимаемая Гранвилем должность отнимала у него довольно много времени, так как работа эта была для него новой. Вот почему он прежде всего занялся устройством кабинета и библиотеки. Обосновавшись в кабинете, где вскоре появились целые кипы судебных дел, он предоставил жене руководить убранством остальных комнат. Он охотно переложил на Анжелику первые хозяйственные хлопоты — источник стольких радостей и воспоминаний для молодых женщин, ибо ему было совестно оставлять ее одну чаще, чем это полагается в медовый месяц. Но как только товарищ прокурора освоился с работой, он разрешил жене вытаскивать его из кабинета, чтобы показывать мебель и украшения, которые он видел до сих пор лишь порознь, пока они не заняли предназначенного для них места.

Если права поговорка, что о женщине можно судить по двери ее дома, то обстановка квартиры должна еще лучше отражать характер хозяйки. В чем тут было дело, — в безвкусных ли обоях, выбранных г-жой де Гранвиль, или в том, что ее характер успел наложить свой отпечаток на все окружающее, но муж был удивлен холодным и чопорным видом комнат; он не заметил в них ничего изящного — все было нестройно, ничто не радовало глаз. Дух чопорности и прямолинейности, которым была проникнута приемная в Вайе, вновь оживал в его собственном доме и сказывался даже в плафонах с круглыми лепными украшениями и арабесками в виде длинных путаных и безвкусных завитков. Желая оправдать жену, молодой человек еще раз прошел по всей квартире, вернулся в переднюю и вновь осмотрел эту длинную и высокую комнату. Цвет, в который, по приказанию жены, была выкрашена деревянная обшивка стен, оказался слишком мрачным, а темно-зеленый бархат скамеек придавал всему еще более строгий вид. Правда, передняя не имеет большого значения, но она все же дает представление о доме, подобно тому как об уме человека судят по первой же произнесенной им фразе. Передняя — своего рода предисловие, которое должно все предвещать, ничего не обещая. Молодой товарищ прокурора удивился, как могла жена выбрать лампу в виде античного фонаря, находившуюся посреди этой голой комнаты, где пол был выложен черным и белым мрамором, а рисунок обоев изображал каменную ограду, кое-где покрытую зеленым мхом. На стене висел дорогой, но старый барометр, словно для того, чтобы еще сильнее подчеркнуть, насколько тут неуютно и пусто. При виде этой обстановки молодой человек взглянул на жену и заметил, что она довольна красной каймой на перкалевых занавесках, довольна барометром и благонравной статуей, украшающей большой камин в готическом стиле, и у него не хватило жестокости или мужества рассеять столь глубокое заблуждение. Вместо того чтобы осудить жену, Гранвиль осудил самого себя; он обвинил себя в нарушении основной обязанности, требовавшей, чтобы он руководил в Париже первыми шагами девушки, воспитанной в Байе. Нетрудно представить себе убранство остальных комнат, судя по этому образцу. Но что можно было ждать от молодой женщины, которая приходила в ужас от голых ног кариатиды и с отвращением отталкивала канделябр, подсвечник или вазу, замечая на них обнаженный египетский торс? В те времена школа Давида была в зените славы. Вся Франция находилась под влиянием совершенного рисунка Давида и его любви к античным формам, превратившей живопись этого художника в своего рода цветную скульптуру. Но ни одно из измышлений роскоши, свойственной временам Империи, не приобрело права гражданства у г-жи де Гранвиль. Белые штофные обои и тусклая позолота ее огромной квадратной гостиной сохранились, казалось, со времени Людовика XV, причем для украшения этой комнаты архитектор не поскупился на ромбовидные решетки и на отвратительные орнаменты в виде гирлянд, появлению которых мы обязаны бездарным и плодовитым художникам того времени. Если бы, по крайней мере, здесь царила гармония, если бы новой мебели красного дерева была придана изогнутая форма, введенная в моду извращенным вкусом Буше, тогда убранство дома Анжелики можно было бы принять за прихоть молодоженов, живущих в девятнадцатом столетии так, словно они задержались в восемнадцатом. Но множество вещей резало здесь глаз своим смешным несоответствием. Консоли, часы, подсвечники напоминали воинские доспехи, столь дорогие сердцу парижан после побед, одержанных Империей. Все эти греческие каски, скрещенные мечи и щиты, вызванные к жизни воинственным пылом французов и украшавшие мебель даже самого мирного назначения, совершенно не вязались с изящными, прихотливыми арабесками — увлечением маркизы де Помпадур. Набожность ведет к утомительному смирению, не исключающему гордыни. Проявилась ли в этом скромность г-жи де Гранвиль или таков был ее вкус, но, по-видимому, она питала отвращение к мягким и светлым цветам, а возможно, просто полагала, что пурпурно-коричневые тона больше всего соответствуют достоинству чиновника судебного ведомства. Да и как могла девушка, привыкшая к строго-нравственному укладу жизни, не презирать мягкие диваны, внушающие сладострастные мысли, изящные и коварные будуары, где зарождаются грехи? Бедный товарищ прокурора был в отчаянии. По тону, каким он высказывал одобрение и соглашался с похвалами, которые жена расточала самой себе, она заметила, насколько ему все не понравилось. Поняв свою неудачу, она проявила такое искреннее огорчение, что Гранвиль усмотрел в нем доказательство любви, а не уязвленного самолюбия. Разве могла лучше обставить квартиру девушка, внезапно вырванная из круга узких провинциальных понятий и незнакомая с кокетливым изяществом парижской жизни? Не желая взглянуть правде в глаза, товарищ прокурора предпочел думать, что ее выбором руководили поставщики. Будь он менее влюблен, он понял бы, что торговцы, быстро угадывающие требования клиентов, благословляли небо, которое послало им ханжу, лишенную вкуса, и помогло избавиться от старомодных аляповатых вещей. Он стал утешать хорошенькую нормандку:

— Счастье, дорогая Анжелика, не в изяществе обстановки, а в женской нежности, уступчивости и любви.

— Но ведь любить вас — мой долг, и нет иного долга, который я готова выполнять с большей радостью, — кротко заметила Анжелика.

Природа вложила в сердце женщины такое желание нравиться и такую потребность в любви, что даже у молодой святоши мысли о загробной жизни и о спасении души должны были поблекнуть перед первыми радостями Гименея. С апреля — времени их свадьбы — и до начале зимы супруги жили в полном согласии. Любовь и труд обычно делают человека довольно равнодушным к окружающей обстановке. Гранвиль меньше, чем кто-либо другой, мог заметить некоторые мелочи своей домашней жизни, так как он полдня проводил во Дворце правосудия, где решались вопросы жизни и имущества людей. Если по пятницам ему за столом подавались только постные блюди и он безуспешно требовал в этот день чего-нибудь мясного, жена, которой Евангелие воспрещало всякую ложь, все же умела отвести от себя подозрение при помощи маленьких хитростей, дозволенных в интересах религии, ссылаясь то на свою забывчивость, то на отсутствие нужных припасов на рынке, а зачастую обвиняла во всем повара и даже доходила до того, что принималась его бранить. В те времена молодые чиновники судебного ведомства не соблюдали, как теперь, постных дней, больших постов и постов накануне праздников. Вот почему Гранвиль не обратил сперва внимания на правильное чередование постных обедов, тем более что они были на редкость изысканны, — ведь жена, желая обмануть его, заказывала в эти дни паштеты, чирков, водяных курочек и рыбу со всевозможными острыми приправами. Итак, товарищ прокурора жил в полном согласии с учением церкви и, сам того не ведая, спасал свою душу. Он не знал, ходит ли жена к обедне в будни, но по воскресеньям проявлял вполне понятную снисходительность и лично сопровождал Анжелику в церковь, как бы желая вознаградить ее за то, что она иногда жертвовала ради него вечерней службой. Гранвиль не понял сперва всей строгости религиозных устоев жены. Летом жара мешает бывать в театре, и он ни разу не предложил жене посмотреть какую-нибудь нашумевшую пьесу. Таким образом, серьезный вопрос о театре даже не поднимался. Наконец, в начале брака мужчина редко бывает требовательным в наслаждениях, если он женился на девушке ради ее красоты. Молодежь отличается скорее пылкостью, чем утонченностью в любви, к тому же первая интимная близость всегда полна очарования. Как распознать в женщине холодность, достоинство или сдержанность, когда наделяешь ее собственными восторгами, когда возлюбленная преображается, озаренная отблеском твоего собственного огня? Только достигнув известной супружеской умиротворенности, можно заметить, что святоша ждет любви со скрещенными руками. Итак, Гранвиль считал себя довольно счастливым, пока одно роковое событие не повлияло на дальнейшую судьбу его супружеской жизни. В ноябре 1808 года каноник собора Байе, некогда духовный наставник г-жи Бонтан и ее дочери, приехал в Париж с честолюбивым намерением получить в столице приход, который он, вероятно, считал ступенью к епископскому сану. Вновь подчинив своей власти духовную дочь, он пришел в ужас, увидев, насколько она изменилась в атмосфере Парижа, и решил помочь ей исправиться. Г-жа де Гранвиль была испугана укорами бывшего каноника, человека лет тридцати восьми, отличавшегося от парижского духовенства, столь снисходительного и просвещенного, нетерпимостью, сухостью и ханжеством провинциального католицизма, преувеличенные требования которого связывают путами робкие души; грешница тут же покаялась и вернулась к своему янсенизму. Было бы скучно описывать день за днем мелкие события, которые постепенно сделали несчастной эту семью. Достаточно будет, пожалуй, упомянуть о важнейших фактах, отказавшись от добросовестного перечисления их в хронологическом порядке. Первое разногласие между молодыми супругами было все же довольно знаменательно. Когда Гранвиль стал вывозить жену в свет, она охотно посещала почтенные семейства, бывала на обедах, концертах и ездила к деловым знакомым мужа, стоявшим выше него в служебной иерархии, но неизменно ссылалась на мигрень, как только ей предстояло отправиться на бал. Гранвиля вывели из терпения эти притворные недомогания, и однажды он скрыл пригласительное письмо на бал, полученное от члена государственного совета, а вечером, видя, что жена вполне здорова, обманул ее и, сославшись на устное приглашение, словно невзначай приехал вместе с ней на волшебное празднество.

— Дорогая, — сказал он жене по возвращении домой, обиженный ее грустным видом, — наше семейное и общественное положение, наше богатство налагают на вас обязанности, отменить которые не может ни один божественный закон. Разве вы не гордость мужа? Вам придется ездить на все балы, где бываю я, и появляться там в надлежащем виде.

— Но, друг мой, что же было такого неудачного в моем туалете?

— Речь идет о вашей манере держать себя, дорогая. Когда к вам подходит молодой человек, начинает с вами разговаривать, вы напускаете на себя такую ледяную холодность, что шутник может заподозрить в неустойчивости вашу добродетель. Вы словно боитесь скомпрометировать себя улыбкой. Право, можно подумать, что вы просите у бога прощения за грехи, которые совершаются вокруг вас. Свет, ангел мой, не монастырь. Но раз ты заговорила о туалете, то признаюсь, что в этом ты тоже обязана следовать моде и обычаям света.

— Неужели вы желаете, чтобы я выставляла напоказ свое тело, по примеру всех этих бесстыдных женщин, которые так обнажаются, что нескромные взгляды могут скользить по их голым плечам, по...

— Существует большая разница, дорогая, — прервал ее товарищ прокурора, — между тем, чтобы обнажать грудь и изящно декольтировать платье. Тройной ряд тюлевого рюша на воротнике вашего платья закрывает шею до самого подбородка. Можно подумать, будто портниха нарочно изуродовала по вашей просьбе линию ваших плеч и груди, а ведь любая кокетка добивается именно того, чтобы платье обрисовывало самые сокровенные формы ее тела. Бюст у вас был прикрыт таким количеством складок, что ваша чопорность всем показалась смешной. Вам было бы неприятно, если бы я повторил те нелепые предположения, которые высказывались на ваш счет.

— Тем, кому нравятся эти непристойности, не придется нести бремени наших грехов, — сухо ответила молодая женщина.

— Вы не танцевали? — спросил Гранвиль.

— Я никогда не буду танцевать, — возразила она.

— А если я вам скажу, что вы обязаны танцевать? — раздраженно продолжал товарищ прокурора. — Да, вы должны следовать моде, носить бриллианты, цветы в волосах. Подумайте же, моя милая, что богатые люди — а мы богаты — обязаны поддерживать роскошь в государстве! Не лучше ли содействовать процветанию мануфактур, чем тратить деньги на милостыню, раздаваемую руками духовенства?

— Вы рассуждаете, как чиновник, — сказала Анжелика.

— А вы — как монахиня, — резко возразил Гранвнль.

Спор обострился. Г-жа де Гранвиль отвечала мужу с неизменной кротостью и голосом чистым, как звук церковного колокольчика, но в словах ее чувствовалось упорство, вызванное влиянием духовенства. Когда Анжелика сослалась на права, предоставленные ей клятвенным обещанием Гранвиля, и на своего духовника, запретившего ей посещать балы, товарищ прокурора постарался доказать, что священник искажает предписания церкви. Отвратительный спор вспыхнул с еще большим ожесточением как с той, так и с другой стороны, когда Гранвиль вздумал повести жену в театр. Наконец, лишь для того, чтобы подорвать вредное влияние духовника жены, товарищ прокурора придал ссоре такой оборот, что разгневанная г-жа де Гранвиль написала в римскую курию, желая узнать, может ли жена в угоду мужу декольтироваться, посещать балы и театры, не погубив своей души. Ответ святейшего Пия VII не заставил себя ждать. В нем строго осуждались непокорность жены и советы духовника. Это письмо — настоящий супружеский катехизис — было, казалось, продиктовано нежным голосом Фенелона[[11]](#footnote-11) и дышало его изяществом и кротостью. «Женщине должно быть хорошо повсюду, куда бы ни привел ее супруг. Если она грешит по его приказанию, то не ей придется отвечать за это». Вот два места из послания папы, которые дали г-же де Гранвиль и ее духовному отцу повод обвинить главу католической церкви в безбожии. Но еще до получения пастырского послания товарищ прокурора заметил, что в его доме строго соблюдаются посты, и, не желая поститься по принуждению жены, приказал прислуге подавать ему круглый год скоромное. Хотя это распоряжение вызвало неудовольствие г-жи де Гранвиль, товарищ прокурора, которого весьма мало трогал вопрос как о скоромном, так и о постном, все же стойко выдержал характер. Всякое мыслящее существо, даже самое слабое, бывает оскорблено в своих лучших чувствах, если ему приходится совершать под давлением чужой воли поступок, казавшийся до того вполне естественным. Из всех видов тирании самый гнусный тот, который мешает человеку самостоятельно действовать и мыслить: ведь это значит отречься от собственной личности прежде, нежели сумеешь ее проявить. Самое ласковое слово замирает на устах, нежнейшее чувство гаснет, когда нам кажется, что нас принуждают к ним. Вскоре молодой товарищ прокурора отказался принимать друзей, устраивать обеды и празднества; его дом словно облекся в траур. Если хозяйка дома — святоша, на всем там лежит печать ханжества. В таком доме слуги неизменно находятся под женским надзором и выбирают их из числа так называемых благочестивых людей, которым присущи совершенно особые физиономии. Подобно тому как симпатичнейший малый приобретает типическую внешность жандарма, поступив в полицию, так и люди, ревностно соблюдающие церковные обряды, становятся похожими друг на друга. Привычка опускать очи долу и принимать глубоко сокрушенный вид является личиной, которую прекрасно умеют носить обманщики. Кроме того, святоши образуют своего рода общину и все знакомы между собой; слуги, которых они рекомендуют друг другу, составляют как бы особое племя, ибо хозяева оберегают его по примеру любителей лошадей, которые не допускают в свои конюшни ни одной лошади без аттестата, составленного по всем правилам. Чем внимательнее приглядываются мнимые нечестивцы к богобоязненному семейству, тем яснее видят там что-то неприятное: они замечают в доме набожных людей следы скупости и тайны, как у ростовщиков, и ту пахнущую ладаном сырость, которая застаивается в холодном воздухе часовен. Мелочный распорядок жизни, узость мысли, которая чувствуется там во всем, можно определить одним словом — ханжество. В этих мрачных, зловещих домах ханжеством пропитаны мебель, гравюры, картины; ханжество там и в словах, и в молчании, и в лицах. Превращение людей и вещей в воплощенное ханжество — необъяснимая тайна, но таковы факты. Каждый из нас имел возможность наблюдать, что ханжи ходят, садятся и говорят не так, как ходят, садятся и говорят обыкновенные люди. У них в доме чувствуешь себя стесненным, у них не посмеешься; неподвижность, симметрия царствуют во всем — от чепца хозяйки до ее подушечки для булавок; там не встретишь ни одного искреннего взгляда, люди кажутся тенями, а сама хозяйка словно восседает на ледяном троне. Однажды утром несчастный Гранвиль с болью и грустью увидел у себя в доме все признаки ханжества. В свете встречаются дома, в которых одни и те же результаты бывают вызваны различными причинами. Скука заключает эти злосчастные дома в заколдованный круг, внутри которого чувствуются ужас и безграничность пустоты. Семейный очаг похож там не на склеп, нет, а на нечто худшее — на монастырь. Окруженный этой ледяной атмосферой, товарищ прокурора стал присматриваться к жене взглядом, уже не отуманенным страстью, и с глубокой грустью понял узость ее кругозора, о котором свидетельствовали маленький, слегка вдавленный лоб и низко растущие волосы; в безупречной правильности черт ее лица он уловил нечто застывшее, непреклонное и вскоре возненавидел прельстившую его сначала притворную кротость. Он предугадывал, что, случись несчастье, с ее тонких губ могут слететь слова: «Это тебе во благо, друг мой». Цвет лица г-жи де Гранвиль приобрел мертвенный оттенок, а в чертах застыло строгое выражение, убивавшее радость у всех, кто с ней встречался. Чем была вызвана эта перемена? Аскетическим ли выполнением обрядов, которому так же далеко до благочестия, как скаредности до бережливости, или же сухостью, свойственной душам ханжей, — трудно сказать; но красота, лишенная жизни, — быть может, просто обман. Невозмутимая улыбка, появлявшаяся на губах молодой женщины при виде Гранвиля, казалась иезуитской формулой счастья, посредством которой она думала удовлетворить всем требованиям брака. Ее милосердие было оскорбительно, ее бесстрастная красота казалась чудовищной, а нежные слова раздражали, — ведь она повиновалась не чувству, а долгу. У женщин бывают недостатки, которые могут изгладиться под влиянием жестоких уроков, преподанных жизнью или мужем, но ничто не преодолеет тирании ложных религиозных понятий. Желание достигнуть вечного блаженства, презрев мирские наслаждения, способно восторжествовать над всем и все помочь перенести. Не есть ли это обожествленный эгоизм, мое «я», намеревающееся продолжить свою жизнь по ту сторону могилы? Вот почему сам папа оказался виновным перед судом непогрешимого каноника и молодой святоши. Быть всегда правым — одно из чувств, заменяющих все остальные в душах деспотичных святош. С некоторых пор между супругами началась скрытая борьба за убеждения, и Гранвиль скоро устал от этого поединка, которому не видно было конца. Какой мужчина, даже с сильным характером, станет проявлять настойчивость, столкнувшись с лицемерно-влюбленным выражением лица и с непреклонным упорством, противопоставленным малейшим его желаниям? Что делать с женщиной, которая пользуется вашей страстью, чтобы охранять свою бесстрастность от всяких покушений, которая пребывает кротко-неумолимой, с наслаждением готовится к роли жертвы и смотрит на мужа как на бич господень, как на источник мук, избавляющих ее от испытаний чистилища? Где найти слова, достаточно выразительные, чтобы описать этих женщин, которые внушают ненависть к добродетели, искажают самые трогательные заповеди религии, выраженные апостолом Иоанном в словах: «Любите друг друга»? Если в магазине появлялась шляпа, осужденная остаться в витрине или быть отправленной в колонии, Гранвиль мог быть уверен: жена напялит ее; если выпускалась материя неудачной расцветки или рисунка, г-жа де Гранвиль облекалась в нее. Святоши способны всякого привести в отчаяние своими безобразными туалетами. Отсутствие вкуса — один из недостатков, неразрывно связанных с ложным благочестием. Таким образом, в личной жизни, где прежде всего хочется встретить взаимное понимание, Гранвиль остался одиноким; он всюду стал ездить один: в свет, на празднества, в театр. Дома ничто не привлекало его. Большое распятие, висевшее между кроватями супругов, было как бы символом судьбы Гранвиля: оно изображало сына божьего, преданного смерти, бога-человека, убитого в расцвете жизни и молодости. Слоновая кость на этом кресте была менее холодна, чем Анжелика, распинавшая мужа во имя добродетели. Между их кроватями угнездилось несчастье, так как в наслаждениях Гименея молодая женщина не видела ничего, кроме долга. В среду на первой неделе великого поста здесь появился призрак воздержания с мертвенно-бледным лицом и предписал резким голосом строжайшее соблюдение поста, но на этот раз Гранвиль не счел удобным писать папе, чтобы узнать мнение консистории о том, как следует соблюдать посты, постные дни и кануны больших праздников. Молодой товарищ прокурора чувствовал себя безмерно несчастным; он даже не мог жаловаться, да и на что? Он был женат на молодой, хорошенькой женщине, благонравной и преданной своим обязанностям, образце всяческих добродетелей! Она каждый год дарила ему по ребенку, всех их кормила сама и воспитывала в строгих правилах.

Добродетельная Анжелика была провозглашена ангелом. Старухи, составлявшие ее общество (в те времена женщинам молодым еще не приходило в голову рисоваться строжайшим благочестием), единодушно восхищались самоотверженностью г-жи де Гранвиль и видели в ней если не девственницу, то по меньшей мере мученицу. Они винили во всем не чрезмерную узость религиозных устоев жены, а безжалостность и чувственность мужа. Гранвиль, поглощенный службою, лишенный развлечений, удрученный и утомленный одиночеством, к тридцати двум годам незаметно впал в глубочайшую апатию. Жизнь стала ему в тягость. Он был слишком высокого мнения об обязанностях, которые налагал на него занимаемый пост, чтобы явить пример беспорядочной жизни; он решил забыться в работе и начал писать большой труд о праве. Но недолго наслаждался он монастырским спокойствием, на которое рассчитывал. Увидев, что муж отказался от светских развлечений и усердно работает дома, неземная Анжелика попыталась окончательно наставить его на путь истинный. Воззрения мужа, несовместимые с христианской религией, причиняли ей большое горе; она иногда плакала, думая о том, что ее супруг может умереть нераскаянным и что тогда она навсегда потеряет надежду вырвать его из геенны огненной. Итак, Гранвилю пришлось вплотную столкнуться с узкими понятиями, бессодержательными рассуждениями и ограниченными мыслями, при помощи которых жена, полагавшая, что уже одержала первую победу, пыталась добиться второй — вернуть супруга в лоно церкви. Это был последний удар. Что может быть тягостнее глухой борьбы, где упрямство святоши пытается одержать верх над логикой чиновника судебного ведомства? Что может быть ужаснее ядовитых булавочных уколов, которым сильные люди предпочитают удары кинжала? Гранвиль все чаще стал проводить время вне дома, где все было ему невыносимо. Дети, угнетенные холодным деспотизмом матери, не смели пойти с отцом в театр, и Гранвиль не мог доставить им ни малейшего удовольствия без того, чтобы не подвергнуть их наказанию грозной матери. Этот любящий человек был доведен до равнодушия, до эгоизма — худшего, чем смерть. Из этого ада он спас, по крайней мере, сыновей, рано поместив их в коллеж и сохранив за собой право руководить ими. Он редко вмешивался в отношения матери к дочерям, но решил выдать девочек замуж, как только они подрастут. Прими он крайние меры, никто не стал бы на его сторону; жена при поддержке внушительной свиты благородных старух заставила бы весь свет осудить его. У Гранвиля, следовательно, не оставалось иного выхода, как жить в полнейшем одиночестве; он был подавлен несчастьем, и лицо его, поблекшее от горя и работы, стало неприятно ему самому. В довершение всего он избегал знакомств и связей со светскими женщинами, отчаявшись найти у них утешение.

В течение пятнадцати лет, с 1806 по 1821 год, в поучительной и грустной истории этой семьи не произошло ни одного примечательного события. Потеряв сердце мужа, г-жа де Гранвиль осталась такой же, как и в те дни, когда считала себя счастливой. Она неустанно молила бога и угодников просветить ее относительно собственных недостатков, неприятных супругу, и наставить ее на путь истинный, дабы она могла вернуть в лоно семьи заблудшую овцу; но чем усерднее были ее молитвы, тем реже Гранвиль показывался дома. Уже около пяти лет бывший товарищ прокурора, которому при Реставрации поручались высшие посты в судебном ведомстве, жил в антресоли своего особняка, чтобы избежать близости с женой. Каждое утро происходила сцена, которая, если верить светскому злословию, повторяется во многих семействах из-за несходства характеров, нравственных и физических недугов или же странностей, приводящих множество браков к несчастьям, описанным в настоящей повести. Часов в восемь утра горничная, несколько напоминавшая монахиню, звонила у двери апартаментов графа де Гранвиля. При входе в гостиную, смежную с кабинетом графа, она повторяла камердинеру одним и тем же тоном неизменную фразу:

— Барыня приказала спросить, хорошо ли провели ночь его сиятельство и будет ли она иметь удовольствие завтракать вместе с ними.

— Барин, — отвечал камердинер, переговорив с хозяином, — просит кланяться ее сиятельству и передать его извинения: ему надо ехать по важному делу во Дворец правосудия.

Минуту спустя горничная вновь появлялась и спрашивала от имени хозяйки, будет ли та иметь счастье видеть его сиятельство перед отъездом.

— Они уже уехали, — отвечал слуга, хотя зачастую кабриолет графа еще стоял во дворе.

Этот разговор через посредников превратился в ежедневный ритуал. Камердинер де Гранвиля, его любимец, не раз служивший причиной ссоры между супругами из-за его неверия и распущенности, отправлялся иногда для вида в пустой кабинет хозяина и выходил оттуда с обычным ответом. Огорченная супруга неизменно подстерегала мужа при его возвращении и появлялась в подъезде, чтобы предстать перед ним как олицетворение безмолвного укора. Мелочная придирчивость, свойственная елейным людям, составляла сущность характера г-жи де Гранвиль, которая в тридцать пять лет казалась сорокалетней. Когда Гранвиль, принужденный соблюдать приличия, разговаривал с женой или оставался обедать дома, она, счастливая тем, что может навязать ему свое общество, свои кисло-сладкие речи и невыносимую скуку — неразлучную спутницу ханжей, — старалась подчеркнуть его вину в глазах прислуги и своих добродетельных приятельниц. Графу де Гранвилю, в то время прекрасно принятому при дворе, было предложено место председателя судебной палаты в провинции, но он обратился в министерство с просьбой оставить его в Париже. Этот отказ, причины которого были известны лишь министру юстиции, навел на самые странные догадки близких приятельниц и духовника графини. Гранвиль, имевший сто тысяч ливров годового дохода, принадлежал к одному из лучших родов Нормандии; его назначение председателем судебной палаты было ступенью к пэрству. Откуда же это отсутствие честолюбия? Почему забросил он свой большой труд о праве? Чем вызван рассеянный образ жизни, который вот уже лет шесть отвлекает его от дома, от семьи, от работы — от всего, чем, казалось, он должен бы дорожить? Добиваясь епископского сана, духовник графини рассчитывал не только на услуги, оказанные им одной конгрегации, ревностным сторонником которой он был, но и на поддержку семейств, подчинившихся его духовной власти; вот почему он был разочарован отказом де Гранвиля и постарался его оклеветать, высказывая следующие предположения: не потому ли граф питает отвращение к провинции, что его пугает необходимость упорядочить свой образ жизни? Ведь в провинции ему пришлось бы показывать пример и жить с графиней, от которой может его отдалять лишь преступная страсть. Разве такая безупречная женщина, как графиня, может заметить беспутное поведение мужа? Добрые приятельницы поддержали эти домыслы, которые, к несчастью, не были игрой воображения, и все это как громом поразило г-жу де Гранвиль. Не имея понятия о нравах высшего света, незнакомая с любовью и ее безрассудствами, Анжелика была далека от мысли, что в браке встречаются иные разногласия, чем те, которые отвратили от нее сердце Гранвиля, и считала, что муж ее не способен совершать ошибки, какие являются в глазах всех жен преступлением. Когда граф совсем отдалился от нее, она вообразила, что эта кажущаяся бесстрастность вполне естественна. Наконец, так как г-жа де Гранвиль отдала ему весь запас любви, предназначавшийся мужчине, а догадки духовника разрушали ее последние иллюзии, она встала на защиту мужа, хотя и не была в силах заглушить подозрение, так искусно зароненное в ее душу. Тревожные предчувствия до такой степени повлияли на слабый разум графини, что она заболела изнурительной лихорадкой. Все это происходило постом 1822 года; г-жа де Гранвиль не пожелала отказаться от строгого поста, предписанного ей благочестием, и постепенно дошла до полного истощения; врачи стали опасаться за ее жизнь. Равнодушные взгляды Гранвиля убивали ее. Уход и внимание мужа походили на заботы, которыми племянник окружает старика дядюшку. Хотя графиня отказалась от своей системы придирок и упреков и пыталась встречать мужа ласковыми словами, все же в них иногда проглядывала колкость святоши, и часто одно слово разрушало старания целой недели. К концу мая теплое дыхание весны и более питательная пища несколько укрепили силы г-жи де Гранвиль. Однажды утром, возвратившись от обедни, она села на каменную скамью в своем садике; тепло солнечных лучей напомнило графине о первых днях замужества, и она мысленно обратилась к своей прежней жизни, чтобы понять, чем нарушила она обязанности матери и супруги. В эту минуту появился аббат Фонтанон в неописуемом волнении.

— Что случилось, отец мой? — спросила она с дочернею заботливостью.

— Как бы я хотел, чтобы все несчастья, ниспосланные вам десницей всевышнего, выпали на мою долю, — ответил нормандец, — но, уважаемый друг, перед такими испытаниями вам остается только смириться.

— Да разве может постигнуть меня кара ужаснее той, которую посылает мне провидение, пользуясь моим супругом как орудием своего гнева?

— Приготовьтесь, дочь моя, к худшему злу, чем то, которого мы некогда опасались с вашими благочестивыми приятельницами.

— В таком случае я должна благодарить господа, что он соблаговолил избрать вас для изъявления мне своей воли, — ответила графиня. — Тем самым сокровища его милосердия сопутствуют громам и молниям его гнева; так некогда, изгнав Агарь, он указал ей в пустыне источник водный.

— Он соразмерил наказание с глубиной вашей покорности и бременем ваших грехов.

— Говорите, я ко всему готова. — Тут графиня возвела очи горе и прибавила: — Говорите, господин Фонтанон.

— Вот уже семь лет, как господин де Гранвиль совершает грех прелюбодеяния с наложницей, от которой у него двое детей; он растратил на содержание этой побочной семьи более пятисот тысяч франков, которые по праву принадлежат его законной семье.

— Я хочу во всем убедиться собственными глазами, — проговорила графиня.

— И не помышляйте об этом! — воскликнул аббат. — Вы должны простить, дочь моя, и молиться, чтобы господь просветил вашего супруга, если только вы не пожелаете прибегнуть к средствам, предоставляемым вам законами человеческими.

Продолжительный разговор аббата Фонтанона с его духовной дочерью произвел в ней резкую перемену; проводив аббата, графиня появилась среди слуг чуть ли не с румянцем на лице и испугала их своей лихорадочной суетливостью: она велела подать карету, потом распрячь лошадей, за один час раз двадцать меняла приказания, но наконец около трех часов приняла, по-видимому, важное решение и уехала, поразив домашних внезапным нарушением всех своих привычек.

— Вернется ли барин к обеду? — спросила она перед отъездом у камердинера, с которым обычно не разговаривала.

— Не обещали быть, ваше сиятельство.

— Вы отвезли его утром в суд?

— Так точно, ваше сиятельство.

— А ведь сегодня понедельник.

— Понедельник, ваше сиятельство.

— Разве он бывает теперь в суде по понедельникам?

— Черт бы тебя побрал! — воскликнул слуга, слыша, как, садясь в карету, графиня сказала кучеру:

— На улицу Тетбу.

Мадемуазель де Бельфей плакала. Безмолвно стоя подле своей подруги, Роже держал ее за руку и смотрел то на маленького Шарля, который молчал, ничего не понимая в горе плачущей матери, то на колыбель спящей Эжени, то на Каролину, слезы которой походили на дождь, пронизанный светлыми лучами солнца.

— Да, это правда, мой ангел, — сказал Роже после продолжительного молчания, — в этом весь секрет: я женат. Но когда-нибудь, надеюсь, мы будем с тобой неразлучны. С марта месяца моя жена находится в безнадежном положении; я не желаю ей смерти, но если богу будет угодно призвать ее к себе, она будет, мне кажется, счастливее в раю, чем на этом свете, — земные страдания и земные радости ей одинаково чужды.

— Как я ненавижу эту женщину! Как могла она сделать тебя несчастным? Однако этому несчастью я обязана своим блаженством.

— Будем надеяться, Каролина! — воскликнул Роже, целуя ее. — Пусть не пугает тебя то, что мог наговорить этот аббат. Правда, духовник моей жены — человек опасный по тому влиянию, которым он пользуется в конгрегации, но если он попытается расстроить наше счастье, я сумею принять меры.

— Что же ты сделаешь?

— Мы уедем в Италию. Придется бежать...

В соседней гостиной послышался крик; вздрогнув, Роже и мадемуазель де Бельфей бросились туда и увидели графиню, лежащую без чувств. Когда г-жа де Гранвиль пришла в себя, она глубоко вздохнула, заметив возле себя графа и свою соперницу, которую она молча оттолкнула с выражением глубочайшего презрения.

Мадемуазель де Бельфей встала и хотела выйти.

— Вы у себя дома, сударыня, останьтесь, — сказал Гранвиль, удерживая Каролину за руку.

Граф поднял умирающую жену, донес ее до кареты и уехал вместе с ней.

— Как вы дошли до того, что стали избегать меня, желать моей смерти? — спросила графиня слабым голосом, глядя на мужа с возмущением и болью. — Разве я не была молода? Вы находили меня красивой, в чем же вы можете упрекнуть меня? Разве я вам изменяла, разве я не была добродетельной и благоразумной женой? В моем сердце жил только ваш образ, ничей другой голос не ласкал моего слуха. Какой долг я нарушила, в чем отказала вам?

— В счастье, — ответил граф убежденно. — Вы знаете, сударыня, богу можно служить по-разному. Иные христиане воображают, что попадут в рай, если станут ходить в церковь, читать «Отче наш», выстаивать обедни и избегать грехов. Таким христианам, сударыня, уготован ад, они не любили бога ради него самого, они не служили ему так, как он того требует, не приносили ему никакой жертвы; несмотря на внешнюю кротость, они жестоки по отношению к ближнему. Они видят только закон, букву, но не сущность христианства. Так поступили и вы со своим земным супругом. Вы пожертвовали моим счастьем ради спасения своей души, вы были заняты молитвой, когда я приходил к вам с сердцем, преисполненным радости, вы плакали, когда своим присутствием могли бы вносить веселье в мой рабочий кабинет, вы ни разу не пошли навстречу моим желаниям.

— Но ведь ваши желания были преступны! — с жаром воскликнула графиня. — Неужели, чтобы угодить вам, я должна была погубить свою душу?!

— То была бы жертва, и у другой, более любящей, хватило мужества мне ее принести, — холодно сказал Гранвиль.

— О боже, ты слышишь его! — воскликнула она, плача. — Разве он достоин молитв, постов и бдений, которыми я изнуряла себя, чтобы искупить его и свои грехи? Для чего же нужна тогда добродетель?

— Чтобы попасть в рай, моя милая. Нельзя быть одновременно женой человека и Христа: это было бы двоебрачием; надо сделать выбор между мужем и монастырем. Ради будущей жизни вы изгнали из своей души всякое чувство любви и преданности, которое бог повелел вам питать ко мне, и сберегли для мира только ненависть...

— Разве я не любила вас? — спросила она.

— Нет, сударыня.

— Что же такое любовь? — невольно спросила графини.

— Любовь, моя милая? — повторил Гранвиль с оттенком иронического удивления. — Вам этого не понять. Холодное небо Нормандии не может быть небом Испании. Очевидно, причина нашего несчастья кроется в различиях климата. Подчиняться нашим прихотям, угадывать их, находить радость в страдании, пренебрегать ради нас общественным мнением, самолюбием, даже религией и рассматривать все эти жертвы как крупицы фимиама, сжигаемого в честь кумира, — вот что такое любовь...

— Любовь бесстыдной оперной дивы, — проговорила графиня с отвращением. — Такой пожар не может долго длиться, скоро от него останутся угли или пепел, сожаление или отчаяние. По-моему, сударь, супруга должна дать вам искреннюю дружбу, ровную любовь и...

— Вы говорите о любви так же, как негры говорят о снеге, — ответил граф с сардонической улыбкой. — Поверьте, скромнейшая маргаритка бывает пленительнее самых надменных, ярких, но окруженных шипами роз, которые привлекают нас весной своим пьянящим благоуханием и ослепительными красками. Впрочем, — продолжал он, — я отдаю вам должное. Вы так хорошо придерживались буквы закона, что, пожелай я доказать, в чем вы виновны передо мной, мне пришлось бы войти в некоторые подробности, оскорбительные для вас, и разъяснить вещи, которые показались бы вам ниспровержением всякой морали.

— Вы осмеливаетесь говорить о морали, выходя из дома, где вы промотали состояние своих детей, из притона разврата! — воскликнула графиня, возмущенная недомолвками мужа.

— Довольно, сударыня, — сказал граф, хладнокровно прерывая жену. — Если мадемуазель де Бельфей богата, то это никому не принесло ущерба. Мой дядя имел право распоряжаться своим состоянием, у него было несколько наследников, но еще при жизни, из чистой дружбы к той, которую он считал своей племянницей, он подарил ей поместье де Бельфей. Что касается остального, то и этим я обязан его щедрости.

— Так мог поступить только якобинец! — воскликнула благочестивая Анжелика.

— Сударыня, вы забываете, что ваш отец был одним из тех якобинцев, которых вы осуждаете так беспощадно. Гражданин Бонтан подписывал смертные приговоры в то время, когда мой дядя оказывал Франции ценные услуги.

Госпожа де Гранвиль замолчала. Но после минутной паузы воспоминание о только что виденной сцене пробудило в ней ревность, которую ничто не может заглушить в сердце женщины, и графиня сказала тихо, как бы про себя:

— Можно ли так губить свою душу и души других!

— Э, сударыня, — заметил граф, утомленный разговором, — быть может, когда-нибудь вам самой придется ответить за все это. — При последних словах графиня содрогнулась. — В глазах снисходительного судьи, который станет взвешивать наши поступки, — продолжал он, — вы, несомненно, будете правы: вы сделали меня несчастным из добрых намерений. Не думайте, что я ненавижу вас; я ненавижу людей, которые извратили ваше сердце и ваш ум. Вы молились за меня, а мадемуазель де Бельфей отдала мне свое сердце, окружила меня любовью. Вам же приходилось быть поочередно то моей возлюбленной, то святой, молящейся у подножия алтаря. Отдайте мне должное и сознайтесь, что я не порочен, не развращен. Я веду нравственный образ жизни. Увы, по прошествии семи лет страдания потребность в счастье незаметно привела меня к другой женщине, к желанию создать другую семью. Не думайте, впрочем, что я один так поступаю: в этом городе найдется тысяча мужей, вынужденных по различным причинам вести двойную жизнь.

— Великий боже! — воскликнула графиня. — Как тяжек мой крест! Если супруг, которого в гневе своем ты даровал мне, может обрести на земле счастье только ценою моей смерти, призови меня в лоно свое!

— Если бы у вас были и раньше такие похвальные чувства и такая самоотверженность, мы были бы счастливы до сих пор, — холодно проговорил граф.

— Ну хорошо, — продолжала Анжелика, проливая потоки слез, — простите меня, если я заблуждалась. Да, сударь, я готова во всем повиноваться вам, я уверена, чего бы вы ни потребовали от меня, все будет правильно и справедливо; отныне я буду такой, какой вы желаете видеть супругу.

— Сударыня, если вы этого желаете, я готов признаться, что больше не люблю вас, у меня хватит жестокого мужества открыть вам глаза. Можно ли приказывать своему сердцу? Может ли одна минута изгладить память о пятнадцати годах страдания? Я больше не люблю вас. В этих словах такая же глубокая тайна, как и в словах «я люблю». Почет, уважение, внимание можно завоевать, потерять и вновь приобрести; что же касается любви, то я мог бы тысячу лет убеждать себя в необходимости любить и все же не пробудил бы в себе этого чувства, особенно по отношению к женщине, которая намеренно себя состарила.

— Ах, граф, я искренне желаю, чтобы ваша возлюбленная никогда не сказала вам этих слов, особенно же таким тоном и с таким выражением...

— Угодно ли вам надеть сегодня вечером платье в греческом стиле и отправиться в Оперу?

Внезапная дрожь, пробежавшая по телу графини, послужила безмолвным ответом на этот вопрос.

В начале декабря 1833 года, в полночь, по улице Гайон проходил седой как лунь человек, изможденное лицо которого говорило скорее о том, что его состарили несчастья, чем годы. Приблизившись к невзрачному трехэтажному дому, он остановился и внимательно посмотрел на одно из окон чердачного помещения, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Слабый огонек едва освещал это убогое окошко, где несколько стекол были заменены бумагой. Прохожий вглядывался в этот мерцающий свет с непостижимым любопытством праздношатающихся парижан. Неожиданно из дома вышел молодой человек.

Бледный свет уличного фонаря как раз падал на лицо любопытного; не удивительно поэтому, что, несмотря на позднюю пору, молодой человек приблизился к нему с нерешительностью, свойственной парижанам, когда они боятся ошибиться при встрече со знакомым.

— Что это! — воскликнул он. — Да это вы, господин председатель? Один, пешком, в этот час, и так далеко от улицы Сен-Лазар! Окажите мне честь, позвольте предложить вам руку: сегодня так скользко, что мы рискуем упасть, если не будем поддерживать друг друга, — продолжал он, щадя самолюбие старика.

— На мое несчастье, сударь, мне всего пятьдесят лет, — ответил граф де Гранвиль. — Такой прославленный врач, как вы, должен знать, что в этом возрасте мужчина находится в полном расцвете сил.

— Тогда остается предположить, что тут замешано любовное приключение, — продолжал Орас Бьяншон, — полагаю, что не в ваших привычках ходить пешком по Парижу. У вас такие прекрасные лошади...

— Если я не выезжаю в свет, — ответил председатель верховного суда, — то из Дворца правосудия или из Иностранного клуба я по большей части возвращаюсь пешком.

— И, конечно, имея при себе большие деньги! — воскликнул молодой врач. — Но ведь это значит напрашиваться на удар кинжала!

— Этого я не боюсь, — грустно возразил граф де Гранвиль, и на лице его отразилось глубокое безразличие.

— Во всяком случае, не надо останавливаться, — продолжал врач, увлекая председателя суда по направлению к Бульвару. — Еще немного, и я подумал бы, что вы хотите украсть у меня свою последнюю болезнь и умереть не от моей руки.

— Да, вы застали меня за подсматриванием, — проговорил граф. — Бываю ли я здесь пешком или в карете, я в любой час ночи замечаю в окне третьего этажа того дома, откуда вы вышли, чей-то силуэт; по-видимому, кто-то трудится там с героическим упорством. — Тут граф вздохнул, как бы почувствовав внезапную боль. — Я заинтересовался этим чердаком, — прибавил он, — как парижский буржуа окончанием перестройки Пале-Рояля.

— Если так, — с живостью воскликнул Бьяншон, прерывая графа, — я могу вам...

— Не надо, — сказал Гранвиль. — Я не дал бы ни гроша, чтобы узнать, мужская или женская тень мелькает за этими дырявыми занавесками, счастлив или нет обитатель этого чердака! Если я и был удивлен тем, что никто не работает там сегодня вечером, если я и остановился, то исключительно ради удовольствия пофантазировать, строя всякие нелепые предположения, как это делают праздные люди, когда замечают здание, внезапно брошенное в недостроенном виде... Уже девять лет, мой юный... — Граф, казалось, колебался, подбирая слова, затем, махнув рукой, воскликнул: — Нет, я не назову вас другом: я ненавижу все, что говорит о чувствах! Итак, вот уже девять лет, как я перестал удивляться старикам, которые занимаются разведением цветов, посадкой деревьев; жизнь научила их не верить в людскую привязанность, я же в несколько дней превратился в старика. Я хочу любить только бессловесных животных, растения и все, что принадлежит к миру вещей. Мне гораздо дороже танцы Тальони, чем все человеческие чувства, вместе взятые. Я ненавижу жизнь и мир, в котором я одинок. Ничто, ничто, — прибавил граф с таким выражением, что молодой человек вздрогнул, — ничто меня не трогает, ничто не привлекает.

— Но ведь у вас есть дети?

— Дети! — продолжал со странной горечью Гранвиль. — Да, конечно! Старшая из моих двух дочерей — графиня де Ванденес. Что же касается другой, то брак старшей сестры сулит и ей блестящую партию. А сыновья? Оба они сделали прекрасную карьеру. Виконт де Гранвиль был сначала главным прокурором в Лиможе, а теперь занимает пост председателя суда в Орлеане; младший живет здесь, он королевский прокурор. У моих детей свои заботы, свои волнения, свои дела. Если бы хоть один из них посвятил мне свою жизнь и попытался своей любовью заполнить пустоту, которую я ощущаю вот здесь, — сказал он, ударяя себя в грудь, — он оказался бы неудачником, принес бы мне в жертву самого себя. А для чего спрашивается? Чтобы скрасить несколько лет, которые мне еще осталось прожить? И чего бы он достиг этим? Возможно, я принял бы как должное его великодушные заботы обо мне, но... — Тут старик улыбнулся с горькой иронией. — Но, доктор, мы не напрасно обучаем своих детей арифметике: они умеют считать! Мои дочери и сыновья, может быть, ждут не дождутся, когда я умру, и заранее прикидывают, какое они получат наследство.

— Ах, граф, как могла подобная мысль прийти вам в голову? Вы так добры, так великодушны, так отзывчивы. Право, если бы я не был живым доказательством благотворительности, которую вы понимаете так широко, так благородно...

— Ради собственного удовольствия, — с живостью возразил граф. — Я плачу за приятное ощущение, а завтра горстью золота оплачу детски наивную иллюзию, если от нее забьется мое сердце. Я помогаю ближним ради себя самого, по той же причине, по какой я играю в карты; вот почему я не рассчитываю на благодарность. Даже при вашей кончине я мог бы присутствовать, не моргнув глазом, и вас прошу питать ко мне точно такие же чувства. Ах, молодой человек, мое сердце погребено под пеплом пережитого, как Геркуланум под лавой Везувия, город существует, но он мертв.

— Как виноваты те, кто довел до такой бесчувственности ваше горячее, отзывчивое сердце!

— Ни слова больше, — заметил граф с ужасом.

— Вы больны и должны мне позволить вылечить вас, — сказал Бьяншон взволнованно.

— Но разве вы знаете лекарство от смерти? — воскликнул граф, потеряв терпение.

— Держу пари, граф, что мне удастся воскресить ваше сердце, которое вы считаете таким холодным.

— Вы обладаете даром Тальма? — иронически спросил Гранвиль.

— Нет, граф. Но природа настолько же могущественнее Тальма, насколько Тальма был могущественнее меня. Слушайте же: на чердаке, заинтересовавшем вас, живет женщина лет тридцати; любовь у нее доходит до фанатизма. Ее кумир — юноша, хотя и красивый, но наделенный злой волшебницей всевозможными пороками. Он игрок, и я не знаю, к чему он питает большее пристрастие: к женщинам или к вину. Насколько мне известно, он совершил преступления, за которые подлежит суду исправительной полиции. Так вот эта несчастная женщина принесла ему в жертву прекрасное положение и обожавшего ее человека, отца ее детей. Но что с вами, граф?

— Ничего, продолжайте.

— Она позволила ему промотать целое состояние и, мне кажется, отдала бы ему весь мир, если бы он принадлежал ей. Она работает день и ночь и не ропщет, когда этот баловень, этот изверг отбирает у нее даже деньги, отложенные на покупку одежды детям, или последний кусок хлеба. Три дня назад она продала свои волосы, а какие у нее были прекрасные волосы! Никогда я таких не видывал. Он пришел, она не успела спрятать золотой, и любовник выпросил эти деньги. За улыбку, за ласку она отдала стоимость двух недель жизни и спокойствия! Разве это не ужасно и не возвышенно в одно и то же время? Но лицо ее уже осунулось от работы. Плач детей надрывает ей душу, она заболела; сейчас она стонет на своем убогом ложе. Сегодня вечером ей нечего было есть, нечего было дать детям, а у них уже на было сил кричать; когда я пришел, они молчали.

Орас Бьяншон умолк. В эту минуту граф де Гранвиль, как бы помимо воли, опустил руку в жилетный карман.

— Я догадываюсь, мой юный друг, — сказал старик, — она жива только потому, что вы ее лечите.

— Ах, бедное создание! — воскликнул врач. — Как не помочь ей? Мне хотелось бы быть богаче, так как я надеюсь излечить ее от этой любви.

— И вы хотите, чтобы я сочувствовал ее нищете? — спросил граф, вынимая из кармана руку; но врач не увидел в ней банковых билетов, которых его покровитель, казалось, искал. — Да ведь такие наслаждения я готов был бы оплатить всем своим состоянием! Эта женщина чувствует, живет. Если бы Людовик Пятнадцатый мог встать из гроба, разве не отдал бы он королевства за три дня жизни и молодости? Не так ли поступили бы миллиарды мертвецов, миллиарды больных, миллиарды стариков?

— Бедная Каролина! — воскликнул врач.

При этом имени граф де Гранвиль вздрогнул, схватил врача за руку, и тому показалось, что он попал в железные тиски.

— Ее зовут Каролина Крошар? — спросил председатель суда изменившимся голосом.

— Так вы ее знаете?.. — проговорил врач удивленно.

— А негодяя зовут Сольве?.. О, вы сдержали слово! — воскликнул председатель суда. — Вы взволновали меня. Более страшного ощущения я не испытаю до того дня, когда мое сердце обратится в прах. Это потрясение — еще один подарок, дарованный мне адом, но я все же расквитаюсь с ним.

Граф с врачом дошли как раз до угла Шоссе-д'Антен. Председатель остановился; тут же, возле тумбы, стоял один из тех ночных бродяг с корзиной за плечами и с крюком в руке, которых во время революции шутливо прозвали членами комитета по розыскам. У тряпичника было характерное старческое лицо, вроде тех, которые обессмертил Шарле в своих размашистых карикатурах.

— Скажи, часто тебе попадаются тысячефранковые билеты? — спросил у него граф.

— Случается, хозяин.

— И ты их возвращаешь?

— Смотря по обещанному вознаграждению.

— Вот такой человек мне и нужен! — воскликнул граф, показывая тряпичнику тысячефранковый билет. — Возьми и запомни: я даю тебе эту бумажку с одним условием: ты должен растратить все деньги в кабаке, напиться пьяным, устроить драку, поколотить любовницу, подбить глаза приятелям. Это поднимет на ноги стражу, фельдшеров, аптекарей, а возможно, также жандармов, королевских прокуроров, судей, тюремщиков. Не меняй ничего в этой программе, иначе дьявол рано или поздно отомстит тебе.

Чтобы правдиво изобразить эту ночную сцену, надо бы владеть карандашом, как Шарле и Калло, или кистью, как Тенирс и Рембрандт.

— Вот я и свел свои счеты с адом и получил удовольствие за собственные деньги, — проникновенно сказал граф, указывая изумленному врачу на не поддающееся описанию лицо тряпичника, который застыл с разинутым ртом. — Что касается Каролины Крошар, — продолжал граф, — пусть она умирает в муках голода и жажды, слыша раздирающие крики умирающих детей, сознавая всю низость своего возлюбленного. Я не дам ни гроша, чтобы избавить ее от страданий, а вас я не желаю больше знать, так как вы ей помогли...

Граф покинул остолбеневшего Бьяншона и исчез в темноте; шагая с юношеской стремительностью, он быстро дошел до улицы Сен-Лазар и у подъезда своего особняка с удивлением заметил карету.

— Господин королевский прокурор прибыл час тому назад и желает говорить с вами, ваше сиятельство, — доложил ему камердинер. — Он ожидает в спальне.

По знаку Гранвиля слуга удалился.

— Почему вы пренебрегли моим приказанием? Ведь я запретил своим детям являться ко мне без зова, — сказал старик, входя, своему сыну.

— Отец, — промолвил почтительно и смущенно королевский прокурор, — смею надеяться, что вы меня простите, после того как выслушаете.

— Ваш ответ вполне благопристоен. Садитесь, — сказал старик, указывая молодому человеку на стул. — Говорите: буду ли я сидеть или ходить, прошу вас не обращать на меня никакого внимания.

— Отец, — начал барон, — сегодня, в четыре часа дня, какой-то юноша, почти мальчик, был задержан у моего друга, где он совершил довольно крупную кражу. Этот юноша сослался на вас, он выдает себя за вашего сына.

— Как его зовут? — вздрогнув, спросил граф.

— Шарль Крошар.

— Довольно, — сказал отец повелительно и стал ходить по комнате в полном молчании, которое сын не посмел нарушить. — Сын мой... — Эти слова были произнесены таким ласковым, таким отеческим тоном, что молодой прокурор затрепетал. — Шарль Крошар сказал правду. Я очень доволен, что ты пришел, дорогой мой Эжен, — прибавил старик. — Вот, возьми, — продолжал он, протягивая сыну объемистую пачку банковых билетов. — Тут довольно крупная сумма, употреби ее в этом деле, как сочтешь нужным. Я полагаюсь на тебя и заранее одобряю все твои распоряжения как в настоящем, так и в будущем. Эжен, дитя мое, подойди, поцелуй меня. Возможно, мы видимся в последний раз. Завтра я подам королю прошение об отставке; я уезжаю в Италию. Если отец и не обязан давать детям отчет в своей жизни, он должен завещать им опыт, за который дорого заплатил судьбе: ведь этот опыт — часть их наследства! Когда ты решишь жениться, — продолжал граф, невольно вздрогнув, — не совершай легкомысленно этого шага, самого серьезного из всех, к каким нас обязывает общество. Постарайся тщательно изучить характер женщины, с которой ты собираешься себя связать. Кроме того, спроси у меня совета, я сам хочу судить о ней. Отсутствие взаимного понимания между супругами, какой бы причиной это ни вызывалось, приводит к ужасным несчастьям: рано или поздно мы бываем наказаны за неповиновение социальным законам. Я напишу тебе по этому поводу из Флоренции. Отцу, особенно когда он имеет честь состоять председателем верховного суда, не подобает краснеть перед сыном. Прощай.

*Париж, февраль 1830 — январь 1842 г.*

1. *Латинский квартал* — район Парижа, где издавна находились высшие учебные заведения, библиотеки, музеи. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Адонис* — в греческой мифологии сын красавицы Мирры, превращенной богами в мирровое дерево. Младенец, рожденный ею, отличался редкой красотой. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Лафатер* Иоганн‑Каспар (1741—1801) — швейцарский философ и богослов, автор системы физиогномики, определявшей характер человека по чертам его лица и форме головы. [↑](#footnote-ref-3)
4. *«Кукушка»* — во времена Бальзака почтовая карета на пять‑шесть мест, курсировавшая в окрестностях Парижа. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Маленький капрал.* — Так в целях конспирации сторонники Наполеона I называли его в период Реставрации. [↑](#footnote-ref-5)
6. В стороне (*ит.*). [↑](#footnote-ref-6)
7. *«Амур и Психея»* — поэтическая легенда, рассказанная Апулеем в «Метаморфозах», согласно которой Афродита, оскорбленная красотой Психеи, дочери царя, решила ее наказать, послав ей своего сына Эрота (Амура). Пленившись Психеей, он перенес ее в свой чертог и там посещал ее только по ночам, чтобы Психея не могла увидеть его лица. Подстрекаемая любопытством, она нарушила этот запрет, и Эрот исчез. Лишь после многочисленных бедствий и приключений Психея вновь соединилась с Эротом. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Национальное имущество.* — Так назывались во Франции во время Французской буржуазной революции XVIII в. конфискованные земельные владения монастырей, а также поместья контрреволюционных дворян‑эмигрантов, перешедшие в собственность государства. Эти земли продавались с торгов; большую часть их скупила буржуазия, меньшую — зажиточное крестьянство. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Конгрегации* — религиозные организации католической церкви; во времена Реставрации один из важнейших проводников политической реакции. [↑](#footnote-ref-9)
10. *«Пойди посмотри, не идут ли они!»* — Слова из сатирической песни французского писателя Антуана Ламотт‑Удара (1672—1731). [↑](#footnote-ref-10)
11. *Фенелон* Франсуа (1651—1715) — французский епископ и писатель, автор нравоучительного романа «Приключения Телемака». [↑](#footnote-ref-11)